

451903

65.9(4УКР)305.5

17-58



ВЛАДИМИР ПОПОВ

Испытание
огнем



ДЕТГИЗ · 1958

65.9 (ч. 43 п.) 305.5

659.18

1758

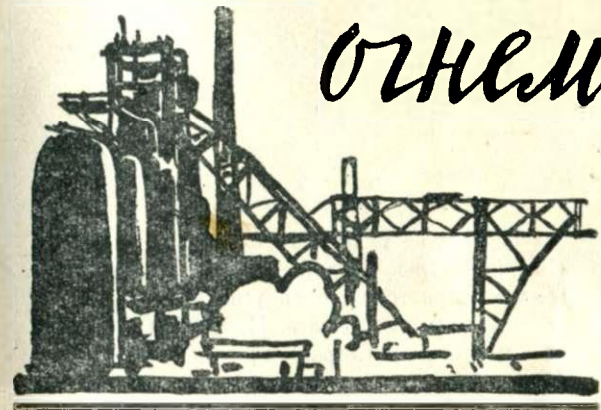
Запорожье

1758

ВЛАДИМИР ПОПОВ

Испытание огнем

322888



ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ

451903

Республиканская
БИБЛИОТЕКА
Коми АССР

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1958

Запорозька обласна
бібліотека
ім. О. М. Горького

ПЕРЕВІРЕНО

Рисунки Б. Лебедева
Обложка и титул Б. Кыштымова

Герой этой книги — сталеплавильщик завода «Запорожсталь» Петр Антонович Селезнев. Ему тридцать три года, но он успел уже много пережить и много сделать. Мальчиком сражался он в партизанском отряде, прошел большую трудовую школу в ремесленном училище, затем на заводе.

В этой повести Владимира Федоровича Попова рассказывается об интересной жизни, о боевых и трудовых делах П. А. Селезнева.



Глава первая

НАЧАЛО ПОЖАРА

Отцов, мужей и братьев проводили в армию в первый же день войны. Провожали всей деревней до районного городка Суража, и, когда вернулись, никому не хотелось расходиться. Взрослые собрались отдельно, молодежь — отдельно. Девчата сгрудились вокруг Нины — круглолицей, светловолосой, с узкими колючими глазами. Нина всегда была задирой, в школе отчаянно дралась с мальчишками, не давала в обиду ни себя, ни подруг, а подросла — донимала незадачливых ухажеров насмешками и озорны-

ми проделками. В этом году Нина закончила первый курс педучилища в Витебске и среди девушек считалась непрекаемым авторитетом. Но сегодня и она ходила как в воду опущенная и не могла ответить на вопросы, которыми забрасывали ее девчата. А по сути вопросы сводились к одному: что делать, как жить дальше?

Как жить дальше? Не мог ничего посоветовать ребятам и их общий друг, учитель Петр Тимофеевич Иванов. Его подшефным было по четырнадцать — пятнадцать лет, и все как один хотели уйти туда же, куда ушли отцы, — на фронт. Иванов быстро охладил их пыл, сказав, что подростков ни при каких обстоятельствах в армию не возьмут.

Поздно ночью, когда разбрелись по осиротевшим, нагоняющим тоску, мрачным хатам — мрачным еще и потому, что нельзя было зажигать огня, — Иванов постучал в ворота небольшого двора.

Залаял пес, с шумом втянул воздух и замолк, учуяв знакомого.

— Это я, Петя! — крикнул Иванов, услышав скрип двери.

Прогредел деревянный засов калитки, и Иванов шагнул во двор.

— Пойдем на сеновал спать, — предложил он. — Одному сегодня неважно.

Петя Селезнев, сухощавый, очень высокий для своих пятнадцати лет паренек, плотно задвинул засов, забежал в хату и вынес рядно.

Странная дружба связывала Иванова и Петю. Иванов был старше Пети на восемь лет, уже преподавал в школе, а Петя только что кончил семилетку и готовился держать экзамены в техникум механизации сельского хозяйства. Машины были его страстью. Все свободное время он пропадал в усадьбе МТС, совал свой нос всюду, и рабочие уже так привыкли к нему, что зачастую давали инструмент и поручали какое-либо несложное дело — подтянуть болты на плуге, очистить от ржавчины шестерню, просверлить

отверстия в поковке. Петя выполнял все с радостью, тая надежду, что когда-нибудь подпустят его и к сердцу машины — мотору. Запах отработанного бензина, машинного масла казался парнишке лучшим запахом в мире.

Второй Петиной страстью были книги. Читал он все, что попадалось, без всякого разбора. В списке прочитанных книг стояли рядом и «Мятеж» Фурманова, и «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака.

Заглянув как-то в этот список, Иванов улыбнулся, озадаченно покачал головой, невольно подумав: «Какой же сумбур в голове может вызвать подобная мешанина!» — и решил руководить чтением своего приятеля — доставать книги, которым сам отдавал предпочтение. Денис Давыдов стал таким же любимым героем Пети, как и Чапаев.

Когда Петя закончил школу, Иванов подарил ему сборник воспоминаний дальневосточных партизан. Появился у Пети еще один герой, которого он боготворил, — Сергей Лазо.

Несмотря на общительность характера, Иванов был одинок. Воспитанник детдома, он не имел родных, с парнями своего возраста не сошелся. Девчата откровенно и грубо посмеивались над его косоглазием и с сердцем ругали облоно, приславший в деревню такого некрасивого учителя.

И как-то совершенно незаметно для себя Иванов и Петя привязались друг к другу. Пете льстила эта дружба, а Иванову нравились в подростковом возрасте сметливый ум, острая восприимчивость, упорство.

Не так-то легко далась Пете семилетка. В деревне Горькаво была только трехлетняя школа, четырехлетка находилась в соседнем селе, а в семилетку Петя ходил за восемь километров. Пока отец воевал с белофиннами, Петя пропустил год, помогал матери по хозяйству. Делал все, что делали взрослые, даже сено косил.

Недешевое детство было у него. Земли вокруг Горькаво бедные, тощие. Речушка Волынка доставляла одни не-

приятности. Весной она разливалась и смывала в Западную Двину плодородный слой земли, а летом пересыхала и превращалась в цепочку луж, связанных между собой жалким ручьем. Недаром и деревня получила свое горькое название. Более или менее сносно рос только картофель. Поэтому и привилась здесь стародавняя белорусская поговорка: «Как бульба есть, тогда и горя не знаем».

Единственным кормильцем семьи был отец, а семья большая — трое детей да двое взрослых. Колхоз захудалый — худший из худших в районе. В школу мать снарядила Петю, надев на него штаны, сшитые из старых платков разного рисунка, и, как на беду, один платок был расцвечен красными полосками. За эти штаны Нинка, троюродная сестра Пети и однофамилица, прозвала его «полосатым», а школьники постарше сочинили частушки, которые распевали на переменах:

Петя, Петя Селезнев,
Что с тобою сделали?
То ли юбку, то ль штаны
На тебя надели.

Уже у Петра появились другие штаны, сатиновые, уже все забыли об этом первом наряде, а Нинка нет-нет, да и посмеется над «полосатым».

Вообще со штанами у Пети были сплошные недоразумения.

Когда к пятнадцати годам он вытянулся и стал обращать на себя внимание девочек, ему захотелось приобрести настоящие, взрослые штаны, которые бы могли затмить все другие. Подворачивался удачный случай. Мать собиралась сшить себе у деревенского портного суконный светло-синий костюм. Оставалось еще немного материала, и Петя упросил Василису Васильевну заказать ему штаны, ссылаясь на то, что он уже взрослый.

Портной долго отговаривал Петю от этой затеи — штаны могли получиться только короткие. Тогда Петя задумал сшить галифе и носить их изредка с отцовскими сапо-

гами. Так и порешили. Через неделю штаны были готовы. Петя еле-еле влез в них, оттянул пузыри галифе, которые даже его снисходительному глазу показались ничтожно малы, сунул ноги в прихваченные из дому больно уж широкие в голенищах сапоги и отправился к тому месту, где каждый вечер собирались школьники его возраста, чтобы поразить всех, а особенно Нину, своим видом.

И как сильно было его горе, когда та самая Нина, а вслед за ней остальные разразились истерическим хохотом при виде Петиних штанов! Пете казалось, что он не вынесет насмешек. Он побежал, а вдогонку ему несло:

— Да как он только натянул рейтузы такие!

— А галифины-то!

— Ну глиста в сапогах — и только!

Пришлось срочно думать о новых штанах. Их сшили из домотканого полотна. Травмированный узкими брюками, Петя принес портному полотна побольше, целых семь метров, и попросил не жалеть.

Полученные им новые галифе были сшиты просто-таки на верзилу — что в длину, что в ширину. В мешки же по бокам можно было положить по откормленному гусаку, и были они похожи на уши слона, но в этом Петя усматривал даже особый шик.

С Ниной отношения были окончательно испорчены, но дружить с ней все-таки хотелось. И это желание росло с каждым днем, росло стремительно и неуклонно.

Тайком от всех, даже от друга своего, Петя мечтал: поступит в техникум, будет жить в одном городе с Ниной. Вот там он ей скажет все! Из книг он уже знал, что говорят в подобных случаях.

...Друзья лежали на сеновале и молчали. В полной тишине поздно наступившей ночи, которую не нарушала даже обычная собачья перекличка, было хорошо слышно, как жует жвачку корова да возятся, шурша оперением, куры, поудобнее умахиваясь на насесте.

Сегодня все не было похоже на вчера. И тьма казалась

гуще, и сено жестче, и ночь не развеяла прохладой духоты знойного дня. Все, такое простое и ясное вчера, стало непонятным и мрачным сегодня, словно спокойно текущая меж привычных, издавна обкатанных берегов река обрывалась в какую-то неведомую бездну.

Прятели всегда много говорили в эти часы. Иванов любил древнюю историю и уводил Петю в далекие века. Такой удивительный, полный неожиданностей и загадок мир открывался парнишке, что он мог слушать учителя, не смыкая глаз до петухов. Иногда Иванов заставлял Петю рассказывать о прочитанных книгах, спрашивал его мнение о поступках героев и при этом тщательно следил за чистотой языка — нет-нет, и поймает на неправильном ударе или слишком заковыристом обороте, в котором не сведешь концы с концами: к ним Петя имел склонность. Единственно, чего не делал учитель, — это не подсказывал своих мыслей, не навязывал своего мнения: думай сам.

Уже начало светать, когда друзья заснули, обменявшись лишь незначительными фразами.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

Смерть бродила вокруг села. На Двине горели пароходы, подожженные гитлеровской авиацией, пылали баки с горючим в усадьбе МТС. Черный, тяжелый, удушливый дым стлался по земле, превращал день в ночь, ел глаза и, казалось, комками залегал в легких. Трое суток горел Витебск. Петя никогда не был в этом городе, но слышал о нем от Иванова, от Нины, видел в газетах фотографии новых зданий и красивых улиц. Ребята сидели на пригорке, уныло устремив взгляды в сторону горевшего города. До него сорок километров. Днем была ясно видна огромнейшая, повисшая в воздухе черная дымовая туча; ночью она окрашивалась в грязно-багровые цвета, а небо от края до края заливало кровавое зарево.

Орудийные раскаты раздавались все ближе, гремели все громче. Потом за Двиной завязался ожесточенный бой. Ребята убегали на берег Двины и часами лежали на крутом, высоком берегу, вглядываясь в лесную даль, где сражалась наша взятая в кольцо дивизия. На пятые сутки бой стих, и теперь орудийные раскаты доносились уже с востока.

Последнюю неделю по несколько раз в день Петя бегал на квартиру Иванова. И все напрасно: учитель исчез. Появился он однажды под вечер, почерневший от пыли, приставшей к потному лицу, умылся, попросил перекусить и увел Петю на сеновал.

От учителя Петя узнал, что гитлеровцы заняли всю область и с часу на час можно ожидать их появления в деревне. Первое, что им надо сегодня же сделать, — это закопать школьное имущество, а второе...

Перед тем как приступить ко второму, Иванов пытливо взглянул в глаза Пети.

— Молчать ты, Петро, умеешь? — спросил он.

— Умею.

— Молчать, как Муций Сцевола.

— Не пробовал, — серьезно ответил Петя. — Но, наверно, сумею.

— Тогда слушай. Успел я побывать в Витебске, в горкоме партии — там мой школьный товарищ работал. В партизаны просился. Взять не взяли — отбор уж очень строгий, — но с одним товарищем связался. Вчера мы с ним опять встретились, уже в Сураже. И дал он мне такое задание: подобрать ребят понадежнее и немедля начать сбор оружия на поле боя. Это партизанам нужно. Ясно?

У Пети перехватило дыхание от радости. Пусть о большем он думал последние дни, но то, о чем говорит Иванов, уже путь к задуманному.

— А где оружие прятать будем?

— В амбаре на току. Под полом.

— Надо составить список! — загорелся Петя.

— Нет уж, давай без списков. Как-нибудь десять—двадцать человек в памяти удержим. А завтра утречком сами, вдвоем, переправимся через Двину, осмотримся, чтобы ребятам точно указать место.

Утром, когда над Двиной еще стлался легкий туман, друзья, стянув в воду первую попавшуюся лодку, отчалили от берега. Весла, наспех сделанные из двух досок, они взяли из дому, а вот котелок, которым можно было бы вычерпывать воду из лодки, прихватить не догадались, и Пете пришлось приспособить для этого свою кепку. Над ними прошли вражеские самолеты, прошли так низко, что были отчетливо видны черные кресты под крыльями. Переправились через реку, лодку отгасили подальше от воды, весла спрятали в прибрежных кустах и углубились в лес.

Лес! Совсем недавно прогулки по лесу сулили одни радости и удовольствия. Петя знал все грибные и ягодные места неподалеку от села, и они с Ивановым совершали набеги на несметные съестные богатства. Почему-то в чаще они всегда либо говорили вполголоса, словно боялись спугнуть застоявшуюся тишину, либо, наоборот, громко кричали и прислушивались, как подхватывает и несет эхо звонкий Петин голос и хриловатый басок Иванова. Любили они и поваляться на согретой солнцем лужайке, бездумно следя, как плывут под голубой гладью неба перистые, похожие на мыльную пену облака, непрерывно меняя свои очертания; слушали неумолчный птичий гомон, загадывали кукушке, сколько лет остается жить им на свете. И всегда смеялись тому, что каждая кукушка врала по-своему.

А сегодня было не до любования и не до разговоров. Шли осторожно, стараясь не ступать на сухие ветви, часто останавливались и снова шли нехоженными тропами, продираясь сквозь заросли кустарника, смахивая с лиц назойливую паутину, вздрагивая от каждого шороха. Лес стал чужим, и всюду чудилась затаившаяся опасность — патруль, засада, карательный отряд. Все это были вполне

реальные опасности, их можно было встретить на каждом шагу. И когда почти из-под ног с шумом взлетел выводок тетеревов, Иванов остановился и зло выругался — не смог скрыть овладевший им страх.

Никогда еще в лесу Петя не боялся. Он хорошо знал повадки зверя, знал, что ни медведь, ни волк зря на человека не нападают. Лес был другом, хорошо изученной любимой книгой, которую можно читать без конца. А теперь что-то враждебное чудилось в нем.

Иванов вдруг остановился как вкопанный; замер невольно и Петя. Иванов снял кепку и осторожно, на цыпочках, двинулся сторонкой, обходя большую высохшую сосну, у разлапистых корней которой лежал мертвый боец. Лежал он уткнувшись лицом в землю, протянув руки вперед. На гимнастерке у лопатки чернело пятно крови.

Свернули влево, туда, откуда доносился истошно резкий крик воронья. Трупы стали попадаться чаще. Иванов так и не надел кепку — нес, зажав в руке. Увидели первую винтовку. Петя поднял ее. Приклад расколот, затвор отсутствует: очевидно, боец, расстреляв все патроны, выбросил его, чтобы привести оружие в негодность, а затем отбивался винтовкой, как дубиной. Над большим лысым холмом, от которого шла широкая просека, кружило воронье. Здесь остатки разбитой дивизии дали последний бой. На вершине холма стояло два орудия, валялись пустые ящики от снарядов, желтела глина наспех вырытых окопов. И всюду — трупы, почерневшие, распухшие. Сладковатый запах разложения дурманил, вызывал тошноту. Убитых врагов нигде не было видно — гитлеровцы подобрали их. Собрали и оружие.

Иванов, стараясь не смотреть на трупы, все-таки искал оружие. Петя перебегал от одного убитого к другому и вглядывался в лица. Среди них мог быть его отец. Мог быть... Как обученный рядовой, уже воевавший, он наверняка принимал участие в боях. Один раз Пете показалось, что красноармеец, лежавший у орудийного лафета, — его

отец. Тот же цвет жидких волос, те же контуры головы. Нет, не он. Отец не носил усов, и за это время они не могли отрасти.

Петя больше не смог выдержать страшного зрелища смерти, окликнул Иванова и побежал по склону холма в лес, чтобы отдышаться и хоть немного прийти в себя.

Иванов нашел Петю на небольшой полянке, где тот сидел на стволе вырванного с корнями дерева, обхватив голову руками, и опустился на траву рядом. Учитель был бледен, капельки пота покрыли его лоб.

— Не выйдет из тебя партизана, Петро, — сказал Иванов, когда Петя поднял голову и встретился с ним взглядом.

— Выйдет! — сквозь стиснутые зубы выкрикнул Петя, вскакивая. Он стоял перед Ивановым с перекошенным от боли и злости лицом, крепко сжав кулаки. — Выйдет!

Методически, шаг за шагом, не теряя друг друга из виду, они стали обследовать местность и к полудню нашли две винтовки — одну под кустом, другую вынули из рук мертвого бойца. Нашел Петя и затвор, случайно наступив на него в траве, и спрятал в карман.

— Есть в лесу оружие, — сказал Иванов. — Группа людей тут кое-чего соберет.

Чтобы не возвращаться домой засветло, друзья выбрали заросли погуще, забрались в кусты и вскоре заснули тем глубоким сном, который часто следует за сильным нервным потрясением.

Огород Петиного дома выходил к речке Волынке. Это было удобно для сборщиков оружия. Возвращаясь ночью из леса, они пробирались берегом до раскидистой ветлы, проходили между кочанами капусты и картофельной ботвой и тихонько свистели у клуни. Петя принимал винтовки, а потом Иванов, который теперь ночевал на сеновале, уносил дневную добычу: две—три, иногда даже четыре винтовки. Он шел тоже берегом Волынки, только не к Дви-

не, а от нее, за деревней поднимался на пригорок и, согнувшись не столько от тяжести, сколько из опасения, несмотря на глухую ночь, быть замеченным, торопился на ток. Здесь, под бревенчатым полом амбара, в накопившейся сухой полове хранился драгоценный клад — смазанные та-вотом винтовки. В стороне от них была надежно спрятана и Петина винтовка. Приклад скотили гвоздями, вставили затвор, очистив его от ржавчины. Не было только патронов, потому что не было их и на поле боя. Наши бойцы сражались до последнего патрона; оставшиеся в живых забирали патроны у убитых. Иванов тоже отложил для себя винтовку, и ему не терпелось опробовать ее. До сих пор ему приходилось стрелять только из рогатки, да и то косоглазие сильно мешало.

Тридцать восемь винтовок собрали ребята, бродя по лесной чаще, а Симанков, с которым связали Иванова в Витебске, не показывался. Иванов и Петя терялись в догадках: может, Симанков забыл о своем задании или погиб? А может быть, отряд передвинулся куда-нибудь по-дальше?

Немцы заглянули в Горькаво всего один раз: назначили старосту, дали ему строгий наказ собрать и свезти весь урожай в Сураж и уехали. Ближайший немецкий гарнизон стоял в селе Островском.

И вдруг Симанков появился среди бела дня на коне, с маузером в деревянной кобуре. Он немного задержался в доме старосты и потом пошел по дворам. Расспрашивал, как ведет себя староста, оставил листовки и газеты. Заглянул и к учителю. Группа ребят следовала за партизаном по улицам в почтительном отдалении, провожая его восхищенными и завистливыми взглядами.

Бесшабашная храбрость этого небольшого человека с сухощавым нервным лицом, разъезжавшего среди бела дня по занятой врагом земле, привела Петю в неистовый восторг: вот так мужик, вот к такому бы в отряд!

В эту ночь, на счастье темную, дождливую, Петя и Ива-

нов отправились на ток, залегли в амбаре и стали ждать партизан. Часов около двух у амбара остановилась пароконная подвода, и, выглянув наружу, друзья увидели ничем не примечательного мужичка с клинообразной бородкой.

— Один приехал? — спросил Иванов.

— Давай товар, — сухо ответил возница. — Какое тебе дело, один или не один?

— Патроны привез?

— Получи! — Возница вынул из кармана шесть обойм винтовочных патронов.

Лошадей с телегой завели в амбар, зажгли закопченный фонарь.

Начали укладывать винтовки. Петя был разочарован. Он ожидал, что за оружием пришлют нескольких партизан, таких же лихих, как Симанков; собирался поговорить с ними, проситься в отряд; ожидал, что партизаны скажут хоть несколько теплых слов. И вдруг этот дедок с внешнестью колхозного сторожа складывает винтовки на телегу, как дрова, да еще ворчит чего-то, будто купил товар и недоволен сделкой.

Когда винтовки погрузили, возница прикрыл их полбой и буркнул:

— Отчиняй дверь!

И уехал, даже не попрощавшись.

— Нет, не выйдет из тебя партизана, — сказал Иванов, искоса взглянув на растерянного Петю.

— Это почему?

Иванов ответил не сразу.

— Молод ты очень, романтика тебе нужна, а какая тут романтика? Притащились мы с тобой сюда по самую задницу в грязи, застыли как цуцики, пыли наглоотались, пока раскопали груз. Проза, Петя, проза... Так думаешь? А я бы на твоём месте от радости прыгал. Винтовки, при твоём участии собранные, пошли в надежные руки и сослужат свою службу. Вот суть того, что произошло.



Два часа спустя, выждав время, когда, по их расчетам, подвода уже должна была скрыться в лесу, друзья исполнили заветное желание. С дрожью в руках от радостного волнения Петя вставил патроны в ствол и, прицелившись в угол амбара, рванул курок. Выстрел был оглушительным, сила отдачи — большая. Петр ощущал звон в ушах и боль в плече, но был счастлив. Винтовка действовала. Опробовал свою винтовку и Иванов.

Зарыв оружие в полову, побрели домой.

Симанков еще несколько раз заезжал в село, привозил газеты и листовки. Они передавались из избы в избы, их читали, почти не таясь.

Со старостой отношения установились ясные. Мужик он был неплохой, был обескуражен своим назначением и не думал делать вреда односельчанам. Да еще Симанков предупредил его: чуть что — и к ногтю! И староста изощрялся вовсю, чтобы как можно меньше досталось продуктов гитлеровской грабьармии и чтобы были они как можно хуже. Урожай на колхозных полях собирали по-прежнему сообща, только делили его тут же, на поле, по числу едоков, сразу развозили по домам и закапывали.

Единственно, кого опасались крестьяне, — это Фрола Агеева. Одноглазый, мрачный, нелюдимый, Фрол, в прошлом лавочник, отбыл наказание за расхищение колхозного добра, вернулся в село года два назад и работал в колхозе конюхом. Жил он бобылем, ни с кем не водил дружбы, а в последнее время стал заходить к односельчанам в гости, и странно всегда совпадало: соберутся почитать газеты — глядишь, и Фрол тут как тут. Сядет в углу, слушает, только единственный глаз поблескивает. И выгнать не выгонишь — какие на то причины? — и при нем неприятно, как-то боязно.

Однажды, встретив Фрола на улице, Иванов подошел к нему, прикурил закрутку и самым благодушным тоном заговорил:

— Слушай, Фрол, язык у тебя вообще пакостный. Раньше говорили — язык до Киева доведет. Смотри, чтобы он тебя до могилы не довел!

— Я ж молчу, — обиженно сказал Агеев.

— Вот-вот! И молчи. Пока молчишь, до тех пор и живешь. А стукнешь немцам — и тебя стукнут.

И Агеев молчал. Только никто не был уверен, долго ли удержит он язык за зубами.

Осенняя распутица отрезала село от Витебска, и гитлеровцы больше сюда не показывались. Но в Островском они успели поставить гарнизон. Те, кто бывал в Островском, рассказывали, что немцы организовали там маслозавод, начальником над ним поставили бывшего предсель-

совета Тетеркина, и тот из шкуры лезет — старается. Отбирает у крестьян начисто все молоко, бьет из него масло и сам работает днем и ночью до седьмого пота. Главная улица села пестрит вражескими приказами: «За хранение оружия — смерть», «За связь с партизанами — смерть», «За несдачу продуктов — смерть».

Слушая рассказы о Тетеркине, Иванов только пожимал плечами. Знал он его с самой лучшей стороны. Немного-словный, деловой человек, любимец всего села — и вдруг образцовый немецкий холуй! Петя дружил с сыном Тетеркина — Колей, когда учился в четырехлетке, сидел с ним за одной партой и не раз захаживал к нему домой, чтобы взять книгу из семейной библиотеки. А книг здесь было много — Пете на год хватило.

Разгадка этой тайны оказалась простой и трагичной. Как-то вечером прибежала Нина и, бросившись к Пете на грудь, разрыдалась. Петя замер, беспомощно разведя руки. Застыла и Василиса Васильевна.

Нина только что вернулась из Островского, куда ходила проведать родичей. Там произошло страшное. Гитлеровцы повесили Тетеркина и запретили его хоронить. Колю отвели в лес и там пристрелили. Оказывается, больше половины всего масла Тетеркин умудрялся переправлять партизанам.

Нина засиделась допоздна. Уже Василиса Васильевна похрапывала в соседней комнате и приходил к концу запас лучин, а она и не собиралась уходить. Петя чувствовал, что Нина хочет сказать ему что-то важное, но никак не решится.

И вдруг Нина поцеловала его, поцеловала неуклюже, куда-то между губами и носом, и всхлипнула:

— Страшно мне за тебя, Петя... ой, как страшно!..

А он сидел недвижимо, ошеломленный и поцелуем и нежностью, которая прорвалась в ее голосе.

— Люб ты мне, давно люб, — прошептала Нина и потупилась, будто призналась в чем-то постыдном. И совсем

451903

17

Запорожская область
Библиотека
им. О. М. Горького

Республиканская
БИБЛИОТЕКА

другим голосом, в котором тревога переходила в содрогание, добавила: — И тебя могут схватить, как Колю... Ведь про оружие на селе болтают. Может, из мальчишек проговорился кто. Агеева боюсь...

— Ну, Агеев как раз может и не знать, — не совсем убежденно выдал из себя Петя.

— Сказать ему — никто не скажет, но сам он проследить мог. Говорят, ночами по селу бродит как тень, что-то выискивает, вынюхивает.

...А на завтра, в телеге, запряженной парой лошадей, через Горькаво провезли убитого Симанкова. Везли его открыто, нарочито медленно, чтобы каждый мог рассмотреть обезображенное лицо, изрубленное тело. Голова Симанкова свешивалась и покачивалась, словно прощался он с людьми, за которых в нечеловеческих муках отдал свою жизнь. На задке телеги была прибита фанерка с надписью: «Партизан». Сопровождали телегу четверо верховых гитлеровцев, мешковато сидевших на лошадях.

Гитлеровцы не разгоняли толпу, провожавшую Симанкова до околицы, только опасливо озирались.

Иванов и Петя долго стояли у крайней хаты, глядя вслед удалявшейся процессии. Их окружили ребята, которые собирали оружие в лесу.

— Перебить бы их сейчас, а Симанкова похоронить! Ну, Петр Тимофеевич?.. — горячо зашептал один из парней.

— А из чего? — спросил Иванов, давно подозревавший, что ребята сдали не все винтовки.

— Винтовки есть.

— А патроны?

— Семь штук.

— Мало! — решительно подавив искушение, отрезал Иванов и пошел назад, к своему дому.

На другой стороне улицы у плетня он заметил Агеева, раскуривавшего толстую сигарку.

Со смертью Симанкова оборвалась единственная нить,

связывавшая Иванова и Петю с партизанами. Где их искать? Лес велик, попробуй найди в нем горсточку людей! А придешь к ним — чем докажешь, с какими намерениями пришел? К тому же Иванов знал, что его косящие глаза производили на людей дурное впечатление.

Вскоре исчез Фрол Агеев. Хата его оказалась запертой тяжелым висячим замком, ставни наглухо закрыты и заколочены. Его исчезновение всполошило деревню. Агеев знал и про листовки, и про газеты, и про Симанкова. Но больше всего опасались, что он дознался про оружие. Никто не видел, как уходил Агеев, — очевидно, подался он ночью или на рассвете. Люди с хорошими намерениями так не уходят.

Иванов и Петя перенесли свои винтовки в клюню, патроны, чтобы не отсырели, носили с собой в кармане. На случай ночной облавы была предусмотрена возможность отступления. Из хаты крытым переходом можно попасть в клюню, захватить винтовки, нырнуть под пол и через специально проделанное отверстие в каменном фундаменте выползти на огород. А там — поминай как звали. Но это все можно было осуществить ночью. А вот если захватят среди бела дня?

На этот случай на главной, проезжей улице деревни в крайних хатах установили посты. Если покажутся гитлеровцы, поднять тревогу, как при пожаре, — от избы к избе.

Староста, побывавший по первопутку в Витебске, рассказал, что видел Агеева. Тот стоял на посту около полицейского управления с пистолетом в кобуре и повязкой на рукаве.

Надо было со дня на день ждать беды.

Иванов удивлялся порой, как это Агеев до сих пор не натравил на деревню гитлеровцев; а Петя утверждал, что Агеев на предательство не пойдет: не пойдет из трусости — побойтся мести.

— Надо было его убить, собаку, на всякий случай, — как-то сказал Петя.

— А ты бы это выполнил, если бы поручили?
— Выполнил! — решительно ответил Петя.
— Это тебе сейчас кажется легко, когда узнал, что он в полиции пристроился. А раньше из-за одного недоверия?
— Не знаю...
— Вот и я так, — сознался Иванов. — Мысли такие у меня бродили, но... прийти к безоружному, пока ни в чем не повинному человеку, и бабах ему в лоб! Что-то не того...

С того дня, когда Петя в порыве откровенности поделился с Ниной своей мечтой уйти в партизанский отряд, девушка частенько стала наведываться к нему под предлогом помочь Василисе Васильевне по хозяйству, поиграть с младшими детьми.

Завидев Нину из окна, братишка Пети, семилетний Вася, орал на всю хату:

— Петюнь, невеста твоя пришла!

Каждый раз он получал за это увесистую оплеуху, но назавтра, забыв о ней, повторял то же самое.

И Нина решила уйти в партизаны. Она докучала Петю просьбами взять ее с собой. Петя сначала отнекивался, а потом сдался, пообещал свое содействие, и Нина успокоилась.

Но когда Петя рассказал обо всем Иванову, тот просто-таки взбеленился:

— С ума спятил! С девчонкой по лесу шататься! Да еще неизвестно, примут в отряд нас самих или нет, а мы — здрасте, прибыли в полном семейном составе! Эх, Петро, не будет из тебя партизана!

Петя уже хорошо изучил Иванова, понял его педагогические приемы и знал, что эти слова он твердит с единственной целью воздействовать на его, Петино, самолюбие. И все-таки эта фраза вздыбливала Петю, как кнут норовистую лошадь.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ

Встречали Новый год. К Селезневым пришли Иванов и брат Нины, Ваня, неразговорчивый, по-взрослому серьезный малый. Он одним из последних закончил поиски винтовок, настойчиво исхаживал лес вдоль и поперек от зари до зари и уже после того, как тощекородый дедок увез на телеге оружие, приташил еще шесть винтовок, и они теперь, как думали, никому не нужные, хранились в амбаре на току. Около двенадцати пришли еще двое ребят — Степа Москалев, предлагавший отбить у конвоя тело Симанкова, и ничем не примечательный, тихий, застенчивый, как девушка, отличавшийся к тому же небольшим росточком, Никишка Олехнович. Поели вареной картошки с салом и солеными огурцами, запили хлебным квасом и запели переделанную на свой лад старинную русскую песню:

Меж высоких лесов затерялося
Незаметное наше село.
Горе-горькое по миру шлялося
И на нас невзначай набрело.

Спели и загрустили. У каждого еще недавно были свои планы и свои мечты. Иванов собирался держать экзамены в заочный педагогический институт, Никифор и во сне видел себя трактористом, Степа Москалев, звеньевой полеводческой бригады, растил на своем участке особый, высокоурожайный сорт картофеля и надеялся в этом году побывать на Сельскохозяйственной выставке. И вдруг заветные мечты — у каждого свои, реальные, доступные — рухнули, и теперь всех их объединяло одно общее непреодолимое стремление уйти в партизаны.

Надежда на то, что их возьмут в какой-нибудь отряд, была весьма смутной, и последнее время ребята все чаще приставали к Иванову, требуя организовать свою партизанскую группу. Иванов всячески противился этому и сей-

час, когда ребята снова на него поднажали, решил раз навсегда положить конец подобным разговорам.

— Заведующим детсадом я наниматься не собираюсь! — едко сказал он. — Тоже мне отряд! Из пращей покурам стрелять да кобелям на хвосты консервные банки подвешивать! Ну вот ты, — обратился учитель к Никифору: — с трех шагов в свои ворота попадешь?

— Чего ж, попаду, — важно, но не совсем уверенно ответил Никифор.

— Нет, хлопцы. По одному, по два вас, может быть куда-нибудь и возьмут. А самостоятельный отряд из вас не выйдет...

Среди ночи со стороны Островского донеслись звуки перестрелки. Назойливо стрекотал пулемет.

Ваня не на шутку встревожился: в Островском вот уже несколько дней жила у заболевшей тетки Нина.

Высыпав гурьбой во двор, ребята с трудом уgomонили разлаявшегося Кудлая и долго слушали будоражащие звуки боя. Замолк пулемет, реже стали трещать автоматные очереди. Потом прозвучало несколько винтовочных выстрелов, и все смолкло.

Растревоженные, они вернулись в хату, строя всевозможные предположения.

А час спустя кто-то бешено заколотил в ворота.

— В клуню! — скомандовал Иванов, уверенный в том, что на Горькаво налетели каратели.

Ребята бросились из хаты.

Открывать калитку пошла Василиса Васильевна.

Было слышно, как она вскрикнула от радости, как приветливо завизжал Кудлай.

«Отец вернулся», — подумал Петя.

Но нет. Это из Островского прибежала Нина. Пар шел от ее разгоряченного лица, волосы на голове слиплись от пота.

Захлебываясь от восторга, она рассказала, что ночью на село напали партизаны, перебили гитлеровский гарни-

зон, начальника гарнизона отправили лесными тропами как «языка» в нашу регулярную часть, которая, оказывается, расположена не так уж далеко. Партизаны заняли село, вывесили красный флаг над сельсоветом и уходить никуда не собираются.

Нина сумела даже узнать условия вступления в отряд — собственное оружие и два поручителя-партизана.

У Иванова тотчас созрело решение: разойтись всем по домам, захватить необходимое и через час собраться у Петинного дома. Он, Иванов, приведет сюда двух лошадей с санями, принадлежавших колхозу, и айда к партизанам!

К удивлению Пети, Нина ни словом не обмолвилась о том, что хочет поехать с парнями. Она успела побывать у начальника партизанского отряда Воронова, и тот сказал ей, что девушек не берут.

Василиса Васильевна принялась собирать Петю в дорогу. Она давно уже привыкла к мысли о разлуке с сыном и даже была рада, что он избавляется от опасности быть захваченным врасплох. И все же слезы набегали на глаза и капали на заповедный кусок сала, на хлеб, на старенькое мужнее белье, которое она укладывала в мешок.

Петя облачился в огромнейшие отцовские вытяжные сапоги, в его нагольный полушубок, надел шапку и, обливаясь потом, нетерпеливо ерзал на скамье, поминутно выглядывая в заледеневшее по краям оконце.

— А невесту свою берешь? — спросил Васятка и привычно вобрал голову в плечи, ожидая оплеухи.

Петя даже не взглянул на него. Радость ключом била в его душе, и все же, когда он следил глазами за торопливыми движениями матери, какой-то тугой комок сдавливал ему горло. Увидятся ли они еще? Вернется ли он в свое село или будет лежать неведомо где, как лежат те, в лесу у холма? Доживет ли мать до его возвращения или гитлеровцы расправятся с ней, как расправлялись с семьями партизан?

Сборы продолжались недолго. Вскоре подъехал Иванов, прибежали Степан, Ваня и Никишка Олехнович, которого Иванов так и не набрался мужества отослать домой, хотя и не знал, как отнесутся партизаны к его появлению с эдакой группой малолетних. У Никишки не было винтовки, но, на крайний случай, если бы его приняли в отряд, ему можно было выдать одну из шести, находившихся в амбаре.

На прощанье Нина поцеловала брата и подошла к Пете.

— До свиданья, дружок мой хороший, — сдавленным от волнения голосом проговорила она. — Знай: если будут девушек брать в отряд, только кликни — на крыльях прилечу! — и опустила голову, застеснявшись выступивших слез.

Василиса Васильевна тупо смотрела на Петю и, только когда лошади тронулись, истощно заголосила, как по покойнику.

К большому удивлению Иванова и Пети, винтовок в амбаре не оказалось. Задыхаясь и непрерывно чихая, они перерыли всю полову, искали винтовки и там, куда их не клали, — никаких следов. Вдруг Петя увидел у двери два смятых сапогом окурка. Значит, побывали здесь партизаны и после гибели Симанкова. Чужие взять винтовок не могли.

Когда подъезжали к Островскому, Иванов достал из кармана кусок кумачового полотнища, прикрепил его к штыку и заставил Петю поднять винтовку повыше.

Петя понял его опасения — партизаны, чего доброго, могли обстрелять неизвестных им вооруженных людей — и позавидовал предусмотрительности учителя.

У въезда в Островское, у крайней хаты, сиявшей под первыми солнечными лучами свежим тесом, стоял сторожевой пост. Партизаны — один в черном полушубке и валенках, другой, очкастый, по всей видимости городской, в зимнем пальто с меховым воротником — были вооруже-

ны автоматами. Они загородили дорогу и потребовали документы.

— Вот документ! — заносчиво сказал Иванов, показывая на красный флажок. — Где начальник отряда?

— Пополнение! — догадался партизан в полушубке и, оставив товарища на посту, зашагал рядом с санями.

Штаб отряда, как и говорила Нина, разместился в сельсовете — большом бревенчатом доме с выбитыми во время перестрелки стеклами. Завидев в окно людей, из дома вышел начальник отряда. У Пети забилось сердце. Воронов был как раз таким, каким в представлении партишки и должен быть руководитель партизан, — подтянутый, с хорошей выправкой, с дерзким, немигающим взглядом. Кожаную куртку опоясывали ремни. На одном боку пистолет, на другом — планшет, за поясом — граната. Серая папаха лихо заломлена, а усы точь-в-точь как у Василия Ивановича Чапаева.

Стоя перед ним, и Иванов невольно выпрямился, стал во фронт, хотя никогда в армии не служил, четко доложил, что они, жители села Горькаво, приехали вступить в партизанский отряд.

— Иванов? — без долгого раздумья спросил Воронов.

— Так точно.

— Слышал. Мне о вас Симанков докладывал. Молодцы! Сорок четыре винтовки.

«Значит, и те шесть у них», — с радостью подумал Петя и невольно улыбнулся.

Воронов остановил на Пете испытующий взгляд:

— Фамилия?

— Селезнев Петр Антонович! — выпалил Петя, радуясь, что Воронов не спросил о возрасте.

— Василисы Васильевны сын?

— Он самый.

— Быстро время бежит, — раздумчиво произнес Воронов, глядя куда-то поверх головы Петра. — Я ее еще в девках помню. Из Плоскоши оба мы.

Почувствовав расположение Воронова, Петя решил ходатайствовать за Ваню и кивнул в его сторону.

— А это мой троюродный брат, тоже Селезнев, — сказал он так, будто фамилия эта должна была что-то значить.

— Тоже мне отличительная фамилия! Да у вас в Горькаво одни только Селезневые и есть. Выйди на улицу крикни: «Селезнев!» — вся деревня сбежится.

— Нет, — засмеялся Петр, — только половина, пожалуй. У нас еще Москалевых много.

— Это твоя сестра сегодня тут была? — спросил Воронов Ваню.

— Моя.

— Бедовая девчонка. Но куда нам сырость разводить? Тут порой и мужики сыреют, когда немцы поднажмут. — Воронов повернулся к Никишке: — Ну, а ты, дитя несмышленое, дуй домой, пока тут тебе жаба титьки не дала!

— Я — домой! — возмутился обиженный Никишка и в азарте пошел на предательство. — Да я старше Петра на год. Ему только... — и вдруг лязгнув зубами, получил пинок в зад.

Воронов досадливо отмахнулся:

— Нам не года нужны, а... — Он так и не договорил, что же нужно, и, сосредоточенно-хмурый, опустив голову, направился в штаб, бросив на ходу: — Оформляйте документы!

Пришлось писать заявление, искать поручителей. Одно поручительство обоим дал сам Воронов, а другое пошло выпрашивать у знакомых или просто доверчивых дядей. Нашлись и те и другие.

Никишка не уходил до вечера — все приставал к Воронову, пока тот не приказал вывести его из села и проследить, чтобы не вернулся.

А вечером Петю как свеженького уже назначили в наряд на дежурство. Началась партизанская жизнь.

БОЕВАЯ ЗАКАЛКА

Никак не удавалось гитлеровцам «освоить» белорусскую землю. Они продвинулись восточнее Витебска, находились севернее и южнее его, а огромный район оставался в руках партизанских соединений и непрерывно расширялся. Одно за другим очищали партизаны села от вражеских гарнизонов, восстанавливали советскую власть. Возобновили работу некоторые школы. Даже в прилегавших к Витебску пригородных деревнях захватчики чувствовали себя как на углях — нет-нет, да и нагрянут партизаны, перебьют фашистов, захватят «языков» и снова вернутся на свои базы.

Отряд, организованный Минаем Шмыревым, известным еще со времен гражданской войны и носившим орден за партизанские подвиги, быстро разрастался и к весне был преобразован в партизанскую бригаду. Имя батьки Миная навело страх на гитлеровцев и особенно на их прислужников.

Наступила весенняя распутица — «черная тропа». По талым дорогам до глубинки не доберешься, и гитлеровцы терпели лихие набеги партизан, теряя своих солдат не меньше, чем в открытых боях. Не могли гитлеровцы и изолировать партизанскую зону. На востоке она на небольшом протяжении смыкалась с передовой линией фронта. Участок слияния регулярной армии с партизанской зоной носил название «Партизанские ворота». Через эти ворота отправляли на Большую землю раненых, увозили пленных немецких солдат и офицеров, через эти ворота шло снабжение партизанских отрядов всем, что они не могли отбить у противника.

За зиму Петр (Петей его уже никто не звал) привык к людям отряда, к суровой воинской дисциплине, научился метко стрелять. Он полюбил свою неказистую винтовку, обладавшую точным боем.

Когда Двина очистилась ото льда, первая рота перво-

го партизанского отряда, в которой был Петя, передвинулась в небольшую деревню Слобода, прилепившуюся на высоком крутом берегу Двины. Гитлеровский гарнизон, когда стоял тут, разогнал жителей, и деревня обезлюдела.

Отсюда было прекрасно видно шоссе, проходившее вдоль противоположного берега реки, и, как только на шоссе появлялись машины или подводы, партизаны принимали стрельбу. Гитлеровцы не особенно терялись при одиночных винтовочных выстрелах, но стоило застрочить пулемету — останавливали машины, рассыпались по кюветам и отлеживались в них часами, даже не пытаясь отстреливаться из автоматов. Этот участок шоссе гитлеровцы прозвали «Перегоном смерти» и пользовались им в основном только ночью, когда под покровом темноты становились неуязвимыми. Пробовали партизаны обстреливать и гараж, разместившийся в усадьбе МТС, но его прикрывал молодой березняк, и особого эффекта эта стрельба не давала.

Как-то сидя на посту в дзоте, вырытом на взгорье, отмечая в журнале всякое передвижение по шоссе — эти сведения передавались нашим регулярным частям, — Петр услышал со стороны реки звук мотора. Он поднял тревогу — подергал проволоку, протянутую из дзота в штаб, на сигнальном конце которой было подвешено несколько жестянок.

Прибежали командир отделения Парфимчик и несколько партизан, стали прислушиваться. Звуки мотора становились все явственнее, и вот из-за поворота вынырнули две лодки. Они неслись посредине реки. Гитлеровцы, по всей видимости, чувствовали себя в безопасности — на передней лодке какой-то любитель музыки играл на аккордеоне браваурный марш.

Парфимчик послал вестового к кладбищу, где был установлен станковый пулемет, партизана с ручным пулеметом — в другую сторону, к прибрежным кустам, приказав не стрелять, пока из дзота не подадут сигнала.

Взяв на мушку гитлеровца, сидевшего на носу передней лодки, Петр нетерпеливо ждал, когда Парфимчик подаст команду. Лодка поравнялась с дзотом. Парфимчик почему-то тихо, словно боясь спугнуть врага, сказал: «Бей».

Петр помедлил несколько секунд и нажал курок. Сидевший на борту гитлеровец вскинул руки и упал в воду. — Молодец! — похвалил Парфимчик.

«Ну и «молодец»! — подумал про себя Петр. — Целился в одного, попал в другого».

Тотчас заработали пулеметы, вода вокруг лодок закипела от ударов пуль. Задняя лодка повернула и, провокаемая смертельным ливнем, понеслась обратно, но вскоре вспыхнула и запылала; передняя вильнула туда-сюда и вдруг, сделав крутую дугу, с разгону врезалась носом в партизанский берег.

Единственный уцелевший гитлеровец выпрыгнул из лодки и с поднятыми руками застыл на месте.

— Есть язык! — деланно-небрежным тоном процедил Парфимчик и важно пошел принимать добычу.

Петр достал из кармана коробочку патефонных иглолок и заколотил одну иглу в приклад. Это был девятый гитлеровец на его личном счету. Девятый несомненный. Случались и такие стычки, когда он не мог с уверенностью сказать, что именно его пуля поразила врага.

Судьба разлучила Петра с Ивановым. Обучая партизан стрельбе, Воронов убедился, что Иванов из-за косоглазия никогда не научится стрелять, и отправил его через «Партизанские ворота» в регулярную часть, где ему удалось пристроиться писарем.

Петр уже понял вкус настоящей, серьезной дружбы, привык к тому, что есть человек, с которым можно говорить обо всем, думать вслух. В отделении к Петру относились, как к равноправному партизану, без высокомерной снисходительности, часто присущей взрослым в отношении с подростками; со всеми он был в товарищеских отно-

шениях, а вот друга, такого, как Иванов, умного, всезнающего и тонко понимающего, Петр не находил.

Ближе всех ему был Ваня Селезнев, односельчанин, родственник и, главное, брат Нины. Не раз вернувшись с поста в хату и отсиживая положенные два часа, чтобы разбудить спящего товарища, Петр писал Нине, как скучает по ней, как ждет того времени, когда они встретятся. Но какими-то странными и неубедительными казались ему слова, выведенные карандашом на листках из ученической тетради в клетку, и он рвал незаконченные письма, начинал другие.

Однажды, вернувшись с поста, Петр увидел, что начатое им письмо забыто на столе. Он торопливо сунул его в карман, но Ваня пригрозил пальцем:

— Раз уж начал дело, кончай. Как только фрицев вышибем, свадьбу сыграем. Рановато, правда, но не беда. Ведь и в отряд не по возрасту, а по росту принимали.

— А за что взяли в отряд Кирьянова? — круто повернул разговор Петр.

Ваня укоризненно взглянул на него.

— За поворотливый ум, — буркнул он, раздосадованный скрытностью Петра. Уж кто-кто, а он заслужил право на откровенность.

И у себя в деревне, и здесь Петя привык оценивать людей по внешности. Высокий, сильный, бедовый, как Парфимчик, — значит будет из него толк; маленький, хилый, тихий, как Никишка, — ничего путного не получится.

Кирьянов был мшенью для всякого рода насмешек. Ростом не больше Никишки, узкогрудый, с незлобивым, робким взглядом, он никак не походил на лихого партизана. К насмешкам относился терпеливо, вместе со всеми посмеивался над собой, но не упускал случая и сам поддеть, если кто подвернется, под левое ребро. Винтовка для Кирьянова была слишком тяжелым оружием, и ему первому в отряде выдали автомат из числа отбитых у немцев.

И вдруг не кто иной, как Кирьянов, попросил команди-

ра отряда отпустить его на ту сторону поджечь гараж. Сказано это было таким будничным тоном, словно «та сторона» являлась местом прогулки, а поджог гаража — таким же незамысловатым делом, как покупка стакана семечек.

Воронов трижды гнал Кирьянова от себя, а на четвертый раз, как только Кирьянов, войдя к нему, открыл рот, крикнул:

— Отставить! Кру-у-гом, шагом марш!

Но когда партизан пришел с той же просьбой и в пятый раз, Воронов сдался.

Поздней ночью Селезевы проводили Кирьянова до Двины и приняли от него одежду. Петра невольно пробирал озноб, когда Кирьянов, обмазав свое тощее тело мажугом, медленно входил в холодную как лед воду. Стараюсь не делать ни единого всплеска, работая руками и ногами под водой, поплыл он наискосок по течению реки.

— Застынет или судорога сведет... — задумчиво скалвал Ваня, глядя, как исчезает в темноте черная точка.

— Если туда сил хватит, то оттуда не доберется, — стуча зубами, едва проговорил Петр.

Селезевы сидели не дыша, вслушиваясь в тишину ночи. Петра пробрал настоящий озноб, и он никак не мог унять дрожь во всем теле.

Вскоре на берег спустились Воронов и Парфимчик. Воронов попробовал рукой воду:

— Если и вернется — не выживет!

— Спиртом напоим, спиртом разотрем, лишь бы вернулся, — отозвался Парфимчик.

Вдруг на соседнем берегу вспыхнуло пламя и с каждым мгновением стало разгораться, набирая высоту, растекаясь вширь. Явственно донеслись тревожные крики, выстрелы. Парфимчик, заложив пальцы в рот, пронзительно свистнул два раза, и тотчас на освещенный пожаром гараж обрушилась пулеметная очередь. Небо над лесом и вода Двины побагровели, как во время заката.

— Освещение не ко времени, — болезненно поморщившись, сказал вполголоса Воронов, не спуская глаз с поверхности реки. На середине ее маячила какая-то точка.

Всплески воды раздались совсем неожиданно и гораздо ближе, чем приковавшая внимание точка.

— Тону-у! — послышался приглушенный голос, и, хотя он совсем не был похож на голос Кирьянова, Петр сбросил кожаные сапоги и стал раздеваться.

— Куда ты! — крикнул Ваня, зная, что и при обычном купании Петр подвержен судорогам — нет-нет, и сводит мышцы ноги так, что приходилось спасать его самого.

Оставшись в одном белье, Петр бросился в воду и мгновенно вылез на берег. Судорога свела мышцы стопы, и большой палец вертикально торчал кверху. Растерев ногу, Петр вторично полез в реку, но повторилось то же самое с другой ногой. Он снова выскочил из воды и прыгнул в нее лишь тогда, когда Ваня подплыл к утопающему.

Ваня неосторожно приблизился к теряющему сознание Кирьянову и, сразу попав в его конвульсивно-цепкие объятия, беспомощно забарахтался в воде. Эту страшную картину и увидел Петр, когда подплыл вплотную. Выход был один: оглушить Кирьянова, чтобы тот совершенно потерял сознание. Петр стал бить его по голове, от каждого удара сам погружаясь в воду. Наконец руки Кирьянова разжались, и Петр, ухватив его за волосы, поплыл к берегу. Тяжело дыша, следовал за ним наглотавшийся воды Ваня.

На берегу уже собралась группа партизан. Неподвижное тело Кирьянова завернули в чей-то полушубок и понесли в деревню. Рядом шли продрогшие Селезневые.

Еще с вечера Воронов приказал специально для Кирьянова вытопить баню. Ею воспользовались Селезневые, выпив предварительно по стакану спирта. Хотя спирт греет изнутри, а пар обжигал кожу, они долго еще тряслись от жестокого озноба.

С большим трудом привели Кирьянова в чувство и потащили отогреть в баню.

Этот случай заставил Петю снисходительнее, чем раньше, относиться к людям с самой невзрачной внешностью. Теперь он со стыдом размышлял о том, что ни ему, ни Ване, ни Парфимчику — крепким физически — не пришла в голову мысль переплыть Двину и поджечь гараж, а если бы и пришла, вряд ли кто из них решился бы на такую отчаянную затею.

Встречая какого-нибудь тщедушного партизана, согбенного под тяжестью амуниции, он не провожал теперь его насмешливо-недоверчивым взглядом. Для такого человека самое пребывание в партизанском отряде, стойкое терпение, проявляемое при всех невзгодах жизни, были геройством. И кто знал, не таится ли в таком хлипком теле пламенная душа Кирьянова...

Порой мысли Петра принимали и другой оборот. Смотрел он на человека с лихой, грозной, явно партизанской, по его мнению, внешностью и думал: «А как поведет он себя в трудную минуту? Не слетит ли с него налет храбрости, когда до смерти останется шаг, как слетает побелка с деревянных стен при первом разрыве снаряда?»

До знакомства с Ивановым Петя руководствовался в оценке своих товарищей чисто поверхностными соображениями: нравится или не нравится ему парень. Иванов учил его разбираться в причинах этих чувств, анализировать, почему один человек тебе симпатичен, другой — неприятен. А после подвига Кирьянова Петр понял, что чувство, которое в тебе вызывает данный человек, и существо этого человека — зачастую разные вещи.

Петра восхищало в Кирьянове особенно то, что он остался таким, каким был, тихим и застенчивым, словно кто-то другой за него совершил подвиг. Кирьянов почти не вспоминал об этой страшной ночи, когда мог умереть семью смертями, а если и вспоминал, то только один эпизод.

Мчась к реке, ослепленный заревом, он встретился с бежавшими на пожар гитлеровцами. Завидев голое, тощее

глянцево-черное существо, которое бесстрашно несло прямо на них, почти не касаясь земли, солдаты шархнулись в стороны и подняли стрельбу по призраку, когда тот был уже далеко.

Петр невольно отметил про себя, что Кирьянов рассказывал об этом эпизоде потому, что здесь не проявились ни его мужество, ни находчивость. Спас случай и растерянность врага. Ведь прежде чем выстрелить по мишени, всегда хочется разглядеть ее. Начинаящие охотники говорят, что, увидев первый раз зверя или птицу, старались прежде всего рассмотреть их и потому упускали добычу...

Потери в личном составе от обстрела партизанами дороги гитлеровское начальство переносило довольно спокойно, во всяком случае до сих пор никаких мер против партизанской деревни не предпринимали, но за материальный ущерб решили отомстить партизанам — отнять у них эту командную высоту. Два дня после поджога гаража было тихо, только по ночам с той стороны реки доносились звуки какой-то подозрительной возни. На рассвете третьего дня на деревню обрушился шквал артиллерийского огня.

Из своего дзота Петр видел, как рвались снаряды — на пригорке словно вырастали черные исполинские деревья и, застыв на мгновение, тяжело обрушивались вниз. По Двине поползли серые клубы дымовой завесы и застучали лодочные моторы. Остаться в дзоте было бессмысленно, и, когда обстрел стих, Петр бросился в деревню. В центре ее уже полыхал пожар, стремительно перекидывался ветром с хаты на хату. Петр забежал за своим вещевым мешком, накинул лямки на плечи и помчался догонять отступавших в лес партизан.

Он был уже почти у цели, когда гитлеровцы открыли по нему пулеметный огонь. Петр бежал, петляя, как заяц. До спасительной опушки полтора метра — сто метров. Вот осталось двадцать шагов. И тут Петр споткнулся и упал. Попробовал подняться — не хватило сил. Он прижался к зем-

ле, распластавшись, словно слившись с ней, и слушал проливное цоканье разрывных пуль.

— Петро! — услышал он с опушки. — Живой?

А он не мог даже откликнуться, только глухие хрипы вырывались из пересохшего горла. Кое-как ползком добрался до своих, с трудом волоча винтовку и вещевого мешка.

Каждое утро гитлеровцы предпринимали наступление на опушку, каждую ночь партизаны наступали на деревню. В одном из боев погиб Ваня Селезнев. Пуля крупнокалиберного пулемета пробила навывлет ему грудь. Похоронили в яму в лесу, рядом с другими погибшими, отсалютовав из всех видов оружия.

И снова Петр остался без друга.

Через десять дней непрерывных боев отряд Воронова перевели на отдых в глубь партизанской зоны, а опушку занял другой отряд.

РАННЯЯ ПРОСЕДЬ

Неделя блаженного покоя. Впервые после вступления в отряд Петр снимал верхнюю одежду, когда ложился спать. В деревню Пудоть, где стоял штаб первой партизанской бригады, приезжали артисты, давали концерты. И каждый вечер Петр смотрел с одинаковым наслаждением один и тот же фильм о разгроме гитлеровских орд под Москвой. Здесь, в Пудоти, отряд передал концертному ансамблю аккордеон, взятый как трофей с моторной лодки.

Потом отряд получил новое задание — парализовать железнодорожное движение в районе станции Городок. Вот здесь Петр впервые увидел железную дорогу. А первый поезд, который предстояло увидеть, надо было взорвать.

Петр так и не рассмотрел поезда. Ночью с ручным пулеметом, отбитым у немцев в одном из боев за деревню Слободу, он лежал с товарищами на пригорке и начал уже

дремать, как вдруг услышал далекое пыхтение паровоза. Черная громадина медленно вползла в выемку, по обеим сторонам которой расположились партизаны. Паровоз толкал перед собой три платформы: если под рельсами где-нибудь заложена мина обычного, «нажимного» действия, то взлетят на воздух платформы, а паровоз останется цел. Но мина была необычная, «натяжная». Чтобы она взорвалась, надо было дернуть за шнур.

В решительную минуту минер замешкался и дернул шнур, когда почти весь состав прошел минированное место. Оторвались только три вагона с солдатами, а эшелон с танками пошел дальше. Завязалась жаркая перепалка с находившимися в вагонах гитлеровцами. Диск за диском выпускал Петр по вагонам из своего пулемета и, разгоряченный боем, не заметил, как задним ходом на выручку своим вернулся в выемку поезда. Привел Петра в чувство только грохот танковых орудий.

Партизаны приняли бой. Но случилось неожиданное: откуда ни возьмись, прилетели гитлеровские самолеты, подвесили несколько осветительных ракет, и поле боя залил белый феерический свет. Пришлось отступить в лес.

Успех операции был сомнительный. Отряд потерял несколько человек, а потерь врага установить не удалось.

Партизаны изменили свою тактику: начали «рельсовую войну» — по ночам взрывали полотно в двенадцати — пятнадцати местах. Полдня уходило у гитлеровцев на ремонт пути, а ночью повторялось то же самое.

Стычки, диверсии, бои стали повседневными. И вот теперь довели Петра до отчаяния отцовские сапоги. Они были сделаны с запасом на отца, и что ни мостил в них Петр, как ни обматывал ноги, все равно растирал ступни в кровь. С трудом удалось их обменять на ботинки. Ботинки были в пору, но при переходах через болото в них набиралась и противно хлюпала вода. Удивляло Петра одно: ни он, ни его друзья ничем не болели, даже насморка не было. Постоянное нервное напряжение, большой душевный подъем

как бы мобилизовывали организм, и он выносил такие тяготы, с какими не справился бы в обычное, спокойное время.

Но однажды Петру пришлось узнать, что нервное потрясение оставляет свои неизгладимые следы. Случилось это во время одной разведки. Отправились вчетвером: он, Геро, по национальности поляк, который знал по-польски только два слова — «пся крев», и алма-атинец Усманов. Возглавил разведку Парфимчик. Милиционер в недавнем прошлом, он отличался исключительным бесстрашием. В атаку шел первым, в полный рост, терпеть не мог ползать по-пластунски.

«Да я ж на своей земле! Чего же я буду на ней, как гад, на брюхе ползать? — отговаривался он, когда Воронов упрекал его в безрассудстве. — Нехай фрицы по ней ползают».

Вышли на просеку, спускающуюся к речушке. Парфимчик скомандовал Петру и Геро перейти на тот берег и подождать на вырубке у штабелей дров и бревен, пока они с Усмановым осмотрят правый фланг.

Петр и Геро перебрались через речушку вброд и обосновались на среднем штабеле дров. Штабелей было здесь много, их разделяли узкие проходы.

— Спланировано как город — с улицами и переулками, — заметил Геро.

Петр установил пулемет и блаженно растянулся рядом, греясь под теплыми солнечными лучами.

И вдруг в той стороне леса, куда углубились товарищи, послышались выстрелы, и через несколько минут на просеку выскочил Парфимчик, без фуражки, без автомата, преследуемый несколькими немцами. По всей видимости, его хотели взять живым. Расстояние между ним и передним преследующим, длинноногим автоматчиком, стремительно сокращалось и, пока Петр разворачивал пулемет, сократилось до нескольких шагов.

Петр дал очередь; длинноногий упал, смешно переку-

вырнувшись с разбега. Остальные гитлеровцы залегли между пнями. Парфимчик, не оглядываясь, перебежал просеку и с быстротой оленя исчез в лесу.

Оправившись от неожиданности, гитлеровцы подняли стрельбу из автоматов по Петру и Геро, которые с пригорка были видны им как на ладони. Партизаны лихо отстреливались. Но когда Петр присоединил запасную обойму пулемет сделал несколько выстрелов и смолк. Петр передернул затвор, решив, что дал осечку патрон, но выстрел снова не последовало — сломался боек.

Осмелевшие гитлеровцы стали по одному подниматься. Беспомощно озираясь вокруг, Петр увидел, что слева из леса вышла большая группа солдат.

— Бежим! — крикнул он Геро и, столкнув пулемет со штабеля, прыгнул вниз.

Пригибаясь, хотя штабеля были достаточно высоки, чтобы скрыть человека, они побежали по проходам. Ими владело единственное стремление: выбраться из этого лабиринта, нырнуть в лес.

И тут — неожиданность. Оттуда, куда они бежали, послышались голоса. Свернули налево — и тотчас шархнулись назад, заметив вдали мундиры мышинового цвета. И вдруг Геро исчез, как сквозь землю провалился. Петр в полной растерянности затоптался на месте.

— Давай сюда! — услышал он яростный шепот и, оглянувшись, увидел высунутую из-под штабеля бревен руку.

Петр юркнул в спасительную нору и очутился по пояс в воде.

Пока Геро поправлял примятый у входа в яму бурьян, Петр взял его карабин, перезарядил. Только теперь он сообразил, что попали они в убежище, в котором до поры до времени прятали какое-то добро колхозники.

— Sie sind bestimmt nicht weit von hier¹, — донеслось до них.

Петр изучал немецкий язык в школе, не питая к нему

¹ Они определенно где-то здесь поблизости (нем.).

расположения, но никогда еще немецкая речь не казалась ему такой ненавистой.

Солдаты прошли мимо них по проходу, потом вернулись и остановились у ямы.

У Петра перехватило дыхание. Прямо перед ямой стоял толстый белолицый солдат и вглядывался в темноту отверстия. Его лицо, ярко освещенное солнцем, было видно так хорошо, что Петр рассмотрел даже родинку под носом. Непреодолимое желание выстрелить в гитлеровца овладело Петром, но этот выстрел стоил бы жизни и ему и Геро.

Не заметив ничего подозрительного, солдат достал сигарету. Едва Петр перевел дух, как к яме приблизился ефрейтор. Петр скопил глаза на карабин — можно ли из него застрелиться? Расстояние от пальца правой руки до виска больше, чем расстояние от спуска до дула. Значит, можно; значит, от самого страшного он избавлен — в руки живым не дастся.

Петру изменяло мужество, когда он смотрел на гитлеровцев, — казалось, что они смогут заметить в темноте ямы блеск его глаз. Но опустить глаза, отвести их в сторону было нельзя. И вот Петр увидел, как ефрейтор направил в отверстие ямы автомат. Грянул выстрел, и брызги воды, словно дробь, больно ударили по лицу. Когда Петр приоткрыл веки, гитлеровцев уже не было. Очевидно, наличие воды в яме убедило, что людей там быть не могло. Геро стоял, застыв как каменный.

Гитлеровцы взобрались на штабель дров и залегли там. Было явственно слышно, как они переговариваются между собой.

Сколько времени продолжалась эта попытка, определить было трудно. Ноги давно застыли, онемели, тело ныло, но партизаны продолжали стоять, прижавшись к углам, ни разу не шелохнувшись.

Уже начало темнеть, когда гитлеровцы ушли. Выждав время, Петр высунул наружу голову, прислушался — тихо. Они выбрались и пошли, еле волоча неповинующиеся ноги.

В отряд добрались глубокой ночью. Их уже не ждали считали, что они погибли, как и Усманов.

На другой день, бреясь, Петр увидел, что у него поседел виски.

Парфимчик, который отделался легким ранением руки, выпросил для своих спасителей у начальника отряда отпуск на три дня, и Петр отправился в Горькаво проводить родных.

Деревня пока еще была цела, но казалась вымершей. Сверстники Петра разбрелись по партизанским отрядам, женщины и дети сидели невылазно в хатах. Когда Петр появился в дверях, мать ахнула и без чувств свалилась на пол. Васятка, выпучив глаза, в ужасе выскочил во двор и, только там заорал так, словно его резали. Захныкала пятилетняя Машутка.

Ничего не понимая, Петр склонился над матерью. Василиса Васильевна открыла глаза, зажмурила их, снова открыла и, плача от радости, запричитала:

— Петенька, сыночек мой, да я уж тебя похоронила! Все глаза выплакала, не глядят они на белый свет!

Петр усадил мать на скамью, сел рядом.

Захлебываясь от неудержимых слез, Василиса Васильевна рассказала, что до села дошел слух, будто он убит под Слободой. Рассказывали даже, с каким почетом хоронили его в лесу.

Петр понял, что его перепутали с Ваней Селезевым.

Осторожно просунув голову в дверь, заглянула соседка, и только тогда появился Васятка. Выражение испуга еще не сошло с его лица.

— Дурень, — сказал ему Петр. — Покойники днем не ходят.

Несмотря на просьбы матери, Петр не мог задерживаться дома больше одного дня и на исходе вторых суток снова был в отряде.

С Ниной повидаться не удалось — в тот день она ушла в Витебск за керосином.

И опять — напряженная до предела человеческих сил жизнь с бесконечными ночными вылазками, диверсиями, боями. И еще одна сильнейшая встряска, добавившая седых волос в голове Петра.

Отделение Парфимчика — первое отделение первого взвода первой роты первого отряда первой партизанской бригады имени Миная Шмырева — было на хорошем счету, и ему поручали ответственные задания. На этот раз задание было необычным — перевести через линию фронта около двухсот стариков и женщин с детьми, которые покинули свои деревни и теперь слонялись в лесу без крова и пищи. Переход людей на Большую землю за последнее время стал массовым. В прифронтной полосе специально для беженцев с оккупированной территории были организованы эвакуационные пункты, которые отправляли пострадавших людей в глубь страны.

С наступлением темноты Парфимчик собрал вокруг себя беженцев, коротко проинструктировал их: держаться вместе, безоговорочно выполнять команду сопровождающих и, главное, соблюдать тишину. Но это главное требование было почти невыполнимо. Попробуй внуши малышам, что нельзя плакать, если их окунут в почти ледяную воду!

Парфимчик хотел, чтобы люди ясно представляли себе всю опасность предприятия, и, не скупясь на краски, описал все случаи, которые происходили и могли произойти. Но люди упрямо твердили одно: «Лучше уж умереть сразу, чем продолжать так мучиться».

До шоссе дошли благополучно, удачно пересекли его — перебежали строго по команде небольшими партиями.

Драма разыгралась на реке. Парфимчик повел всех сразу, прекрасно понимая, что переход реки группами — задача еще более рискованная, так как первая же группа из ребят могла себя обнаружить, и тогда горе остальным!

По каменистой отмели почти до середины реки добрались в полном безмолвии, но дальше, когда вода стала до-

ходить низкорослым до плеч, поднялся шум. Завопили намокшие, перепуганные дети, вскрикивали оступающиеся женщины, беспомощно плескались потерявшие равновесие. Трудно было остаться неслышанными.

И действительно, вскоре застрочили пулеметы. Раздались предсмертные крики, понеслись вопли ужаса, визг, истошный многоголосый плач. Мимо Петра проплыл бездыханный спеленатый ребенок и тут же чье-то тело мягко ударилось о его ноги. Он нагнулся, схватил тело. Молодая женщина с распущенными волосами была мертва. Он бросился спасать утопающих, то здесь, то там тянувших к нему дрожащие, с растопыренными пальцами руки, потом схватил двух девочек, барахтавшихся, как щенята, в воде, и больше уже никому не мог оказать помощи. Это было мучительнее всего. Возле него, выкатив от предсмертного ужаса глаза, захлебывалась водой старуха. Ей достаточно было протянуть руку, но рук у Петра только две.

Оступаясь на покрытых скользкими водорослями камнях, заставив себя смотреть только вперед, Петр упорно двигался к берегу. Одно-единственное стремление руководило сейчас им: дойти, донести свою живую, трепещущую ношу. И он дошел.

Долго еще раздирали тишину ночи человеческие стелания и захлебывающийся лай пулеметов.

В полукилометре от берега, у сожженного дотла хутора, Парфимчик подождал, пока подтянутся все уцелевшие, и повел колонну по «ничейной» земле. Отсюда было рукой подать до своих.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Все сильнее разгоралось пламя народной войны в Белоруссии. Огромную территорию между расположенными по периметру городами Минск, Пинск, Гомель, Брянск, Смоленск и Витебск контролировали бесчисленные партизанские отряды. Руководимые штабом партизанского движения и ЦК КП Белоруссии, подчиняющиеся единому пла-

ну, который увязывал действия всех соединений, партизаны наносили мощные удары по коммуникациям врага: пускали под откос многочисленные эшелоны, взрывали мосты, разрушали телефонно-телеграфную связь, вели рельсовую войну. Белорусские партизаны поставили своеобразный рекорд, взорвав в одну ночь 40 755 штук железнодорожных рельсов.

Взлетали на воздух склады боеприпасов, заводы и мастерские, горели продовольственные склады и гитлеровские учреждения, горела земля под ногами оккупантов, пытавшихся установить на ней «новый порядок».

Белорусы уже хорошо знали, что несет с собой этот «новый порядок» в «новой провинции Восточной Пруссии» — Белорутении.

Замучили, довели до отчаяния налоги, которые каждый комендант устанавливал произвольно, по своему усмотрению. Хата, клуня, овин, скот, птица, кошки, собаки, комнатные цветы, патефоны — за все нужно было платить. Даже солнечным светом нельзя было пользоваться даром — облагались налогами окна, выходящие на улицу.

Не было предела грабежу. Увозили хлеб, скот, птицу, фураж, требовали от крестьян шпиг, масло, яйца. Забирали все, что могли, сколько могли, и попробуй только не отдай, утай! Тут тебе верная смерть. Даже за сокрытие валенок карали, как за хранение оружия, расстрелом.

Не было границ произволу. Каждый гитлеровец мог изнасиловать, убить, сжечь хату, село. В деревне Стайки, под Городком, комендант потребовал от населения найти велосипед и инструменты, утерянные немецким солдатом, иначе он угрожал стереть с лица земли и деревню, и окружающие ее поселки.

И злодеяниям, превосходящим всякое воображение, не было конца. Единственной мерой наказания за любой проступок значился расстрел. Но расстрел — это не самое страшное. Палачи истязали свои жертвы: избивали плетями, выкручивали языки и пальцы, забивали в тело гвозди,

сгоняли детей и женщин в болота на медленную смерть, собирали и сжигали «подозрительных» в зданиях. В Сураже около семисот человек согнали в заминированный ров и потом добивали из автоматов тех, кто уцелел от взрывов.

Но белорусский народ не молчал, не стал на колени — мстил, как только мог, на каждом шагу. Крепли, разрастались партизанские отряды. Люди шли по одному и целыми группами, а когда радио и газеты (а их в тылу у врага выходило более ста шестидесяти) стали приносить сообщения о наступлении Красной Армии в районе Сталинграда, в партизаны двинулись целыми деревнями.

Прием местных жителей в отряды не причинял особых хлопот: всегда находились партизаны, знавшие, что представлял собой тот или иной человек до войны, можно было проверить, как вел он себя в оккупации. Но усилился приток людей со сложной биографией — полицаев и всяких других лиц, побывавших на службе у гитлеровцев. Появлялись также сбежавшие из «особой освободительной армии», в которую фашистское начальство вербовало кого только могло. Отталкивать их было нельзя, но и принимать в отряды опасно: можно ли поручиться, что под видом раскаявшегося не проникнет провокатор?

А гитлеровцы шли на провокации самого разного характера и масштаба — от засылки отдельных агентов до широких провокационных маневров.

Однажды под видом обращения Советского командования они распространили листовку, в которой призывали партизан не заниматься частными операциями, организовывать крупные партизанские соединения, скапливаться на базах и ждать приказа о наступлении на... Варшаву.

Эта листовка имела у партизан большой «успех» — она была напечатана на тонкой газетной бумаге, и из нее очень удобно было делать самокрутки и «козьи ножки».

Провокации такого характера разоблачались легко — в этом помогал штаб партизанского движения, — а вот попробуй разберись в человеке, который пришел с «той сторо-

ны»: что у него на душе, не держит ли он камня за пазухой?

В отделении, которым командовал теперь Петр Селезнев вместо раненного в бою Парфимчика, перебивало несколько человек, проходивших проверку. Петр смотрел за ними в оба. Особенно подозрительным казался ему сын бургомистра одного из районных городов Вениамин Стрешнев. Это был парень лет восемнадцати, крепкого сложения, всегда задумчивый и грустный. Держался он как-то особенно, ни с кем не сходил — либо чувствовал, что ему не доверяют, либо сам не доверял людям.

В ту пору отделение Селезнева ходило в засаду на проселочную дорогу. Ни одного дня не проходило без стычек. Если по дороге двигался небольшой обоз, партизаны истребляли всех сопровождавших; если отряд — все равно затевали бой и отходили в глубь леса.

Стрешнев трусости не проявлял, но и особой храбрости не выказывал, и Петр так и не установил своего отношения к нему. По настоянию Петра начальник штаба отряда Бурминов решил проверить Стрешнева на самостоятельном задании — обязал его ликвидировать в Лиозно начальника полиции.

Стрешнев ушел и не вернулся. А через две недели стало известно, что он был схвачен полицией и выдан отцу, который собственноручно застрелил его.

Вместо выбывшего Селезневу дали на проверку Кирилла Промтова, который служил полицаем в Бешенковичах и явился с повинной. Впрочем, по словам Промтова, никакой вины, кроме ношения нарукавной повязки, за ним не числилось. Поступить в полицию его вынудили гитлеровцы в порядке мобилизации, и, служа, он никому никаких неприятностей не доставлял.

Партизаны знали, что гитлеровцы подчас, не набрав желающих, насильно мобилизовывали в полицию первых попавшихся на глаза, и отказываться было нельзя, потому что за отказ расстреливали на месте.

Проверка подтвердила, что Промтов действительно никаких злодеяний не совершил, и Селезнев не понимал, почему начштаба требовал самого тщательного наблюдения за новичком. Промтов всем в отделении нравился. Общительный и не по возрасту веселый, он держался так, словно и родился в отряде, охотно и много рассказывал о себе, о своих злоключениях. Во время стычек был осторожен, зря под пули не лез («Не в этом геройство, — говаривал он, — а в том, чтобы живым остаться да фашистов сковырнуть как можно больше») и отличался меткостью глаза.

«Вот из таких бы стрелков составить отделение! — думал Петр. — Ох, и наворочали бы нечисти!»

Как-то отделение Селезнева обстреляло взвод гитлеровской пехоты. Солдаты сначала бросились врассыпную, но, оправившись от испуга, засели за деревьями по другую сторону дороги и начали стрелять. Селезнев слышал, как находившийся неподалеку Промтов вскрикнул и упал.

Когда на помощь гитлеровцам подоспел второй взвод, Селезнев дал команду отходить, а сам подполз к Промтову, чтобы оказать помощь. Но тот по-прежнему лежал недвижимо и, даже когда Петр потряс его, не проявил никаких признаков жизни. Взяв валявшуюся возле Промтова винтовку, Петр пополз назад. Вдруг стрельба стихла, как по команде, и, оглянувшись, он увидел, что Промтов стоит за могучей, не охватишь, сосной и машет немцам маскхалатом, который нацепил на ветку. Петр вскинул винтовку и выстрелил в предателя два раза, чтоб уж наверняка.

С досады на свою непроницательность и отсутствие чутья на людей Петр запросился на курсы подрывников. Это кипучее дело, доведенное партизанами до высокого совершенства, понравилось ему с тех пор, когда он с товарищами пытался, но так и не пустил под откос первый увиденный им поезд. Но Бурминов категорически запротестовал: он не находил смысла в том, чтобы переквалифицировать отличного стрелка и неплохого разведчика.

А третьего февраля сорок третьего года все огорчения



Отделение Селезнева ходило в засаду на проселочную дорогу.

сразу были забыты: в роту прискакал вестовой из штаба отряда с самым радостным за все время войны сообщением — фашистская группировка войск у Сталинграда разгромлена, бои в этом районе кончились.

Война вступила в другой этап — этап последовательных победоносных ударов.

Но напряжение на партизанских фронтах достигло невысшего накала. В марте немцы повели организованное наступление на партизан. Фашистское командование знало, какая огромная сила сосредоточена в дремучих белорусских лесах, и страшилось лета, когда партизаны особенно активизировались. Нацистские главари, поправшие все человеческие законы, настолько были растеряны, что стали взывать в печати к мировому общественному мнению, требуя принудить партизан воевать «по правилам», не нарушая каких-то международных способов ведения войны.

В начале апреля отряд, в котором был Петр Селезнев, попал в окружение и окопался на лесистом замшелом островке, затерянном среди болот. Не имея данных о численности окруженного отряда, гитлеровцы не предпринимали наступления на остров — решили взять партизан измором.

Как на грех, скудный запас продуктов вскоре кончился, была съедена последняя сослужившая боевую службу лошадь, и теперь варили конскую кожу, с которой не могли справиться даже самые крепкие зубы. Силы людей иссякали. Трудно стало даже нагибаться за вытаявшей из-под снега, ярко рдевшей на кочках клюквой, и Петр собирал ягоды губами. От кислоты губы распухли, а язык одеревенел и еле-еле ворочался во рту.

Мучил голод, мучил и холод. Землянки сырые, в них долго не усидишь, а костры разводить опасно: днем места скопления людей выдавали столбы дыма, ночью — огонь. Но их все равно разводили, чтобы обсушиться, обогреться, хоть немного размягчить в кипятке проклятую, жесткую, как подошва, кожу. И почти всякий раз, завидев костер,

враг пускал в ход авиацию, нещадно бомбил затерянный в болоте лоскуток земли.

В отряде еще работала рация, партизаны связывались с регулярными частями, просили патронов и продовольствия, что давно уже считалось зазорным: кормиться и вооружаться было принято за счет врага. Им обещали, назначали время, но, как только на островке раскладывали опознавательные огни, появлялись гитлеровские самолеты, бомбили и потом патрулировали в воздухе.

Помощь пришла, когда ее уже никто не ожидал. Среди бела дня над лесом низко-низко, почти задевая верхушки деревьев, покружил красноезвездный разведчик, а через два часа из низких клубящихся облаков вынырнул двухмоторный самолет в сопровождении шести истребителей и в несколько заходов сбросил тюки с патронами и провизией.

Партизаны ожили. Сытый желудок придал бодрости, избыток патронов — смелости.

К вечеру, когда тускло проглядывавшее сквозь облачную пелену солнце стало прятаться за лес, на поляне, у сваленной взрывом бомбы сосны, собрались партизаны, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сидеть дальше без дела, да еще в качестве иждивенцев, было невозможно. К тому же с каждым днем болото оттаивало все больше и вот-вот могло стать совсем непроходимым. Близилось время «черной тропы».

Петр знал Бурминова как хорошего служаку. Начальник штаба неизменно требовал, чтобы бойцы были подтянуты, отдавали рапорт по всей форме, устраивал нагоняи за всякую расхлябанность. А вот когда от него потребовали решительных действий, заявил, что считает единственным выходом из положения — просачиваться через оцепленные поодиночке.

Тогда выступил рядовой Миляев. Петр часто разговаривал с ним, и тот, как одержимый, твердил одно и то же: «Эх, Петро, Петро, хочется мне, чтобы все это поскорее кончилось, но мечтаю хоть разок покомандовать батальо-

ном! Тогда можно и на покой. И за такую честь даже умереть согласен».

Так вот этот самый Миляев горячо заявил:

— Негоже это, братцы! Вместе воевали, вместе и умирать будем! По одному нас, как галушки, поглотают, а вот когда все мы как ком — попробуй! Подавишься. — И, раскрасневшись от возбуждения, он крикнул: — Бойцы, слушай мою команду! В девять ноль-ноль собраться всем у этой сосны в полной готовности. Пойдем на прорыв. Отряд поведу я. Кто боится — не волью. Просачивайтесь как кому удобно.

Никто не остался, никто не ушел один. Шли, сжатые в кулак, через болото, сквозь град пуль, сквозь лес, кишевший гитлеровцами, шли, теряя одного за другим, но не теряя главного — сплоченности, монолитности.

Только на вторые сутки оторвались они от наседавшего по пятам противника, а на пятые, изнемогая от усталости и голода, добрались до передовых частей Красной Армии.

Двое суток Петра не могли добудиться, да и не особенно старались разбудить. Всех пугал его вид. Сухой, желтый, с запавшими глазами, он походил на мертвеца. Ему давали пить — он пил, не открывая глаз; давали есть — пытался жевать, но тут же засыпал с пищей во рту. На третий день он проснулся сам, приподнялся на соломе, обильно устилавшей пол, и по привычке схватился за винтовку. Знакомое ощущение — шершавая ложа, обитая гвоздями, и патефонные иглы в прикладе (а их теперь было тридцать семь) вдруг вернули ясность сознания. Над головой высился потолок бревенчатого амбара, рядом лежали незнакомые люди. «Проспал своих», — с горечью подумал Петр.

Да, его товарищей уже не было. Одних положили в госпиталь, других расформировали по отрядам.

На медосмотре Петра по возрасту и по состоянию здоровья признали негодным к военной службе и решили отправить в тыл. Пятнадцатилетним юнцом попал он в отряд, и не успевший окрепнуть организм его надломился.

Тыл... Каким позорным показалось ему это слово! Бойцу партизанского отряда ехать туда, где, как он думал, остались одни малодушные да женщины с детьми! И что он будет делать там? Он еще ничему не научился, кроме как воевать.

Петр воспринял решение комиссии как приговор, как издевательство. Но когда он вышел из санчасти и по пути к барачу трижды садился, потому что темнело в глазах и кружилась голова, он понял, что комиссия была не так уж несправедлива к нему.

Пришло время расстаться с винтовкой. Петр невольно прослезился, когда каптенармус небрежно, как никудашную вещь, бросил винтовку в кучу бракованного оружия.

— Да ты проверь, какой у нее бой! — запальчиво крикнул Петр.

— Ступай, ступай, — меланхолично ответил каптенармус. — У нас сейчас знаешь какое оружие...

Петр ушел с таким чувством, будто оставил в чужих, недобрых руках самое дорогое, самое близкое ему существо.

На эвакуационном пункте Петр получил направление в Магнитогорск. Почему именно в Магнитогорск — так и осталось тайной. Возможно, инспектор был из тех мест и послал юнца туда, где хотелось быть самому, а может быть, учуял у мальчишки горячее желание вернуться в отряд и посылал подальше в тыл, откуда выбраться было мудрено.

Так или иначе, в кармане у Петра лежала путевка, а в вещевом мешке, сшитом еще матерью, болтался скудный сухой паек, выданный на дорогу.

Глава третья

В ЦИТАДЕЛИ ОБОРОНЫ

Немало бед набрался Петр в пути. Почти на каждой станции задерживали его по подозрению в дезертирстве, проверяли документы. Паек быстро исчез, и неизвестно, как преодолел бы Петр этот долгий путь, если бы не приютил

его в своем вагоне начальник санитарного поезда, который следовал до Челябинска.

И вот наконец небольшая, ничем с виду не примечательная станция, на фронте которой стояло: «Магнитогорск».

На площади перед вокзалом Петр увидел на рельсах два красных вагончика, которые брали приступом люди, и понял, что это трамвай. Облепленные со всех сторон пассажирами, переполненные до отказа, вагончики медленно поползли на подъем.

В кармане оставалось еще двадцать рублей. Отдав десятку за крохотный пирожок с картошкой, Петр долго жевал его, чтобы растянуть удовольствие, и, когда толпа пассажиров поредела, рискнул сесть в трамвай. Прижавшись к стеклу, он жадно осматривал город, в который занесла его судьба. Потянулся нескончаемый бетонный забор. Кондукторша громко объявляла остановки: «Башик», «Березки», «Туково», «Доменный», «Заводоуправление».

Слева шло шоссе, вдоль него тянулись то небольшие, двухэтажные каменные домики, то деревянные бараки. На остановке «Заводоуправление» Петр увидел большую площадь и заводские ворота, через которые входили и выходили люди. По сторонам от ворот возвышались два таких больших дома, каких ему никогда еще не приходилось видеть. И снова потянулся каменный забор, до тех пор, пока трамвай не свернул влево. Поднялись на пригорок. Весело позванивая, трамвай помчался по улице мимо кварталов больших, четырехэтажных зданий.

Когда кондукторша объявила остановку «Дворец металлургов» и Петр, взглянув в окно, увидел огромное здание, он не смог сдержать любопытства и выскочил из вагона. Долго стоял он перед дворцом, пораженный его размерами, а когда стал обходить здание, вдруг увидел панораму завода. Даже люди бывалые, много повидавшие в своей жизни, подолгу простаивали здесь, любуясь величавым видом самого большого в Европе предприятия. А мальчишке, кото-

рый бродил до сих пор по белорусским деревням и лесным хуторам, зрелище это показалось просто сказочным.

На добрый десяток километров растянулись заводские сооружения. Особенно поразили Петра два гигантских черных цилиндра, по форме напоминавших баки для горючего. Большой цилиндр был самым высоким сооружением на заводе — командной высотой. В центре завода тоже высился целый ряд черных цилиндров поменьше, они заканчивались куполами. Лес труб, извергавших дымы разных цветов и оттенков, а порой и пламя, тянулся к небу, как насторожившиеся стволы невиданно мощных зенитных орудий. Весело поблескивали под лучами солнца застекленные стены и крыши зданий. И вдруг стекла одного из них засветились багровым пламенем, словно от пожара внутри. Из отдаленного здания с целым частоколом труб беспрерывно доносился гром, самый настоящий, какой слышится при наступлении грозы или гуле канонады; по серым лентам шоссе сновали машины; по рельсам, отсвечивавшим на солнце, двигались поезда с вагонами странной формы. Они походили то на цибарку, поставленную на колеса, то на рюмку без ножки, то на поднос, уставленный стаканами.

Все это не было похоже ни на что до сих пор виденное, вызывало недоумение и потому пугало.

Кто-то прикоснулся к плечу, и, оглянувшись, Петр увидел перед собой милиционера.

— Издалека?

— Из-под Витебска.

— С оккупированной? — сразу насторожился милиционер. — Документы!

Петр протянул весь свой небольшой архив, завернутый в партизанскую газету: справку о том, что он числится командиром отделения партизанского отряда, старое отпускное удостоверение на три дня, справку медицинской комиссии и направление эвакуационного пункта.

— А паспорт? — потребовал милиционер.

— Какой тебе паспорт! В отряд ушел, когда шест-



надцати не было. А там не выдают.

Милиционер искоса взглянул на бородку парня и снова просмотрел документы. Их нехитрое оформление — написаны от руки, печати несуразно большие — внушало доверие. Милиционер сам был из бойцов, демобилизованных по ранению.

— И куда же думаешь устраиваться?

— Вот этого, дяденька, я сам не знаю.

И это «дяденька» тоже говорило о том, что парень из деревни и, несмотря на бородку, молод и неотесан.

Милиционер подробно рассказал, как добраться до школы ФЗО.

— Там дело верное. Сразу в общежитие определяют, — соблазнял он прежде всего бытовыми благами, — на полное довольствие поставят, а через полгода специальность получишь.

Что перевесило на чаше весов — специальность или полное довольствие, — сказать трудно. Пожалуй, полное довольствие, потому что, услышав эти слова, Петр снова ощутил настоящий голод, от которого сосет под ложечкой и кружится голова.

Петр отправился искать школу. Худой, с ввалившимися глазами, обросший, в видавшем виде нагольном полушубке и с пустым вещевым мешком за плечами, он привлекал общее внимание.

Город впитал в себя две большие волны эвакуированных — осенью сорок первого года и весной сорок второго, —

тысячи одиночек, но появление человека в зимней одежде, с вещевым мешком за плечами в мае сорок третьего года было уже редкостью. Его останавливали, участливо расспрашивали, давали советы. Одни убеждали поступить на завод, другие — на курсы вагонновожатых, а третьи усиленно рекомендовали



устроиться на мясокомбинат. Но Петр упорно шел туда, куда звал его пустой, требовательно урчавший желудок.

Однако поесть удалось только вечером. В школе ФЗО Петру прежде всего предложили вымыться, и он засиделся под душем, испытывая ни с чем не сравнимое блаженство от теплых упругих струй воды, до тех пор пока кожа на плечах и спине не одеревенела. Потом он одевался. Все было новым, чистым и, главное, по размеру. Выбритого, постриженного и изменившегося до такой степени Петра, что он не узнал себя в зеркале, привели в столовую. Директор ФЗО распорядился выдать новому питомцу дневной рацион. Петр проглотил его, но сытости не ощутил.

А позже, в чистенькой, залитой электрическим светом комнате на двенадцать человек, Петр увидел свою койку, настоящую железную койку с матрасом, простынями, одеялом и подушкой, на которой он должен был спать, спать, снимая одежду и обувь, спать без опасений, что попадет в лапы врага, спать всю ночь и каждую ночь. Нет, это превосходило всякое воображение!

Новые товарищи Петра подкреплялись после ужина, вытащив из сундучков, стоявших под кроватями, всякую снедь: сало, домашнюю колбасу, сухари — все, чем снабди-

ли их заботливые мамы и папы. Узнав от новичка, что он явился сюда добровольно, они наперебой принялись бранить его, рисовали всякие ужасы: жратва плохая, держат в строгости, домой не пускают. Многие из них уже пытались бежать, но их ловили на узловой станции Карталы и возвращали обратно. Отсюда и своя поговорка: «Кто в Карталах не бывал, тот горя не видал».

Петр долго слушал ребят, сдерживая накипающее раздражение, и неожиданно для них и для самого себя закричал:

— А вы, чистоплюи чертовы, по трое суток одну мороженую клюкву не жрали? Конскую кожу не жевали? Воду с головастиками не пили? По горло в болоте не сидели? Ишь, несчастные! Морды понаели, хоть щенят об них бей! — Он презрительно сплюнул и пошел бродить по коридорам школы.

С того дня пристала к Петру кличка «Бешеный» и отгородила его от многих. Никто не навязывался ему в друзья, да и он не искал себе друга среди мальчишек, которые по своему житейскому опыту были значительно моложе его.

Вскоре, вдосталь отоспавшись и отдохнув после двух лет напряженной жизни, Петр затосковал по партизанскому коллективу, по людям, с которыми свыкся, по товарищам, проверенным и в беде и в бою. Но тоска эта приходила только по вечерам, перед сном — днем скучать было недосуг.

Занятия в основном проводились на заводе. Первые дни Петр чувствовал себя раздавленным обилием впечатлений, которыми окружил его этот новый, пока еще непонятный и неведомый мир.

Учился Петр на отделении слесарей-монтажников. Эта специальность нравилась ему более других — все же поближе к машинам; кроме того, он имел кое-какие слесарные навыки, приобретенные в МТС. Но мастер группы невзлюбил новичка, который забрасывал его посторонними, не относящимися к делу вопросами. Петру хотелось постичь

смысл и назначение всего, что он видел на заводе, и своей пытливостью он походил сейчас на пятилетнего ребенка, которому хочется знать больше, чем способен вобрать его умишко, знать все обо всем, а мастер хорошо разбирался только в том, что входило в круг его обязанностей. Посоветуй он своему ученику прочесть простенькую книжицу, в которой доступно излагаются основы металлургии, Петр перестал бы спрашивать о назначении газгольдеров — тех самых поразивших его воображение цилиндров емкостью в сто и пятьдесят тысяч кубометров газа, о температуре жидкого чугуна, о емкости шлаковых ковшей. Но мастер сделать это не догадался, а Петр еще не знал, что есть такие популярные книги, и его любопытство оставалось неудовлетворенным. Задержаться на заводе и самому побродить по цехам строго запрещалось — ученики приходили и уходили все вместе. Вместе и работали там, где было указано.

Шесть месяцев пролетели довольно быстро. Петру присвоили звание слесаря-монтажника, и через день он уже поступил на работу в монтажное управление треста «Магнитострой».

Все еще шла война. На западе страны гремели бои, пожирившие тысячи и тысячи тонн металла. На востоке плавили этот металл, превращали его в танки, самолеты, орудия, снаряды и посылали армиям, очищавшим Советскую землю от фашистских орд. Фронт и тыл были едины в своем наступательном порыве, в напряжении до последних сил.

И Петра, когда он попал на стройку шестой комсомольской домны, захватила и повела с собой волна небывалого патриотического подъема. Здесь, на стройке, ему часто казалось, что он находится в бою — то же сверхчеловеческое напряжение, та же дисциплина и строгая координация действий. А внешне обстановку боя напоминали непрерывный, неумолчный оглушительный стрекот пневматических молотков, как пулеметы отбивавших дробь, и сияние огней элект-

тросварки, заливавшее по ночам площадку белым фосфорическим, словно от подвесных ракет, светом. Как в бою нельзя терять ни минуты, чтобы не задержать продвижение другого подразделения, так на стройке каждое промедление срывало работу смежных бригад. Петр знал: стоит ему установить «постель» под мотор или закончить с бригадой монтаж подъемника — и тотчас этими механизмами займутся электрики: подведут провода, потом начнут испытывать моторы, механизмы, сначала на холостом ходу, затем под нагрузкой. Люди спешили. Но и в этой спешке ничего нельзя было сделать на «авось», кое-как, а только предельно добросовестно и точно.

В короткие минуты отдыха солидные рабочие курили, а фэззошники... играли в бабки, подкидывали ногой зоску — вырезанный из овчины кружок кожи величиной в пятак с вшитым посередине кусочком металла. Победителем оставался тот, кому удавалось больше других подбросить зоску, не уронив ее на землю.

Петр снисходительно относился к забавам своих товарищей, но участия в них не принимал. Так было и в родной деревне. Он считался компанейским парнем на рыбалке, на сборе грибов и ягод, в озорных проделках, но всяким играм предпочитал книги.

И часто, следя за играми ребят, Петр вспоминал детство, Горькаво, родную семью, Нину, и кровь приликала к вискам. Живы ли они? Безумно хотелось увидеть их, прижать к себе, расцеловать, чего никогда не делал он прежде, — по-мужски сдерживал себя от таких порывов. Здесь, за тысячи километров от семьи, в тревоге за нее он корил себя за то, что так мало сыновнего внимания уделял матери, так мало говорил с ней, даже чуждался ее. Как там она, бедная, с двумя ребятенками? А может, деревню уже стерли с лица земли и бродят они по лесам, голодные и холодные? А Нина? Он знал, как жестоко глумились гитлеровцы над девушками, как истязали их за связь с партизанами. В отряде он скрывал ото всех свое чувство, стыдился его, а сейчас не-

удержимо хотелось крикнуть о нем, окрепшем в разлуке, о тревоге своей на всю страну.

Закончив в рекордный срок монтажные работы на комсомольской домне, строители переехали в Нижний Тагил, на ремонт доменной печи Ново-Тагильского завода.

Здесь, в Тагиле, Петр впервые побывал в музее. Он с благоговением рассматривал экспонаты, от которых пахло стариной, — стол, сделанный из первой меди, добытой здесь еще при Петре I, модель первого в России паровоза, изготовленного крепостными механиками братьями Черепановыми, модель первого в России велосипеда с огромнейшим передним колесом, изумляющие зрелым мастерством картины крепостных художников. Он подолгу стоял перед изделиями из малахита — красивейшего минерала сочно-зеленого цвета с такими причудливыми узорами, какие могла изобрести только природа.

Убогая утварь крепостных изб размещалась здесь рядом с предметами роскоши дворянских и купеческих усадеб и лучше всяких слов и учебников говорила о нещадной эксплуатации народа, создававшего колоссальнейшие богатства для увеселения жизни немногих избранных. А в искуснейших творениях самобытных народных мастеров, которые могли и завязать в узел двухдюймовый прут из прославленного на весь мир уральского железа, и отковать из этого железа розу с тончайшими лепестками, оживали прекрасные образы сказов Бажова.

Через плотину, невдалеке от особняка Демидовых, огромного здания с колоннами у входа, дымили трубы одного из старейших в России — Нижне-Тагильского металлургического завода, с приземистыми, почерневшими от дыма цехами.

Сравнивая этот крохотный демидовский заводик с Ново-Тагильским, а его доменки-самовары — с магнитогорскими домнами, Петр воочию видел, как выросла техника в Советской стране по сравнению с отсталой царской Россией.

Людей пожилых жизнь столкнула с фашизмом после того, как они познали, что такое капитализм. А практическая политграмма Петра Селезнева началась с борьбы с фашистами. «Прелести» капиталистического общества, которые готовились возродить на нашей земле фашисты, он глубоко прочувствовал, осматривая один экспонат за другим.

Вернувшись в Магнитку, Петр стал работать на строительстве коксохимической батареи, а затем перешел на монтаж железных конструкций мартеновской печи. Вот здесь и проснулось в нем то, что стало потом смыслом всей жизни, — любовь к сталеплавильному производству.

Войдя впервые в здание мартеновского цеха, он невольно вспомнил о том дне, когда родители привели его, пятилетнего мальчишку, на престольный праздник в храм. Петя стоял, раскрыв рот, подавленный необъятными размерами и красотой храма. Он задира голову, чтобы рассмотреть седобородого деда, изображенного в куполе, и непрерывно терял кепку. Потом он стал канючить и попросился на руки — на каменном полу быстро застыли босые ноги, — и отец посадил его на плечо. Но он непрерывно вертелся, показывал пальцами на иконы, спрашивал отца, кто тот дядя, кто та тетя, и на него зло шипели верующие. Кончилось это посещение совсем плохо. Когда священник дал Пете вкусить святое причастие, «крови и плоти Христовой», ему понравились сладкий напиток и белая просфорка, он попросил еще и, не получив добавку, поднял такой визг, что отец вынужден был снять с себя армяк, накрыть сына с головой и вынести из церкви. После крепкой отцовской вздрючки Петя захлебнулся в диком реве, и в церковь они больше не возвратились.

Но не о вздрючке вспомнил Петр, когда вошел в мартеновский цех. Поразили размеры здания — оно растянулось почти на полкилометра, и крыша его терялась в высоте, затуманенной легкой неподвижной дымкой. Тогда церковь, а теперь мартеновский цех были самыми большими

ми сооружениями, которые ему довелось видеть в своей короткой жизни, и они вызывали в душе одно и то же чувство — восхищение объемом.

Петр стал заглядывать в мартеновский цех. Обычно двенадцатичасовой труд на заводе выматывал так, что он думал только о том, как добраться до общежития, поесть и завалиться спать. А иногда, когда работа особенно спорилась и Петр чувствовал себя достаточно бодрым, он не упустил случая подняться на рабочую площадку и постоять, внимательно разглядывая окружающее.

Тринадцать печей, выстроенных в ряд, напоминали собой квартал больших одноэтажных домов. Это сходство особенно увеличивалось ночью, когда высокая крыша здания тонула во мраке и казалось, что печи стоят под открытым небом. То здесь, то там окна их приоткрывались, и ослепительные лучи света прорезали рабочую площадку. А когда в печь подавали руду, из окна бил вверх такой высокий столб пламени, какой видел Петр до сих пор только при пожаре.

Но больше всего поражали машины, огромные, добротные, массивные и быстрые.

Необычайно замысловатая, ни на что не похожая завалочная машина с непостижимой быстротой хватала хоботом подаваемые к печи на вагонетках железные ящики с рудой, известняком, металлическим ломом, вводила их в печь, вываливала содержимое и снова ставила их на вагонетки. В воздухе над печами двигались целые железнодорожные мосты — заливочные краны с огромными крюками. Они легко поднимали стонные ковши и аккуратно сливали жидкий чугун в печь по подвешенным желобам. А на разливочном пролете краны были еще более мощные: они поднимали двести пятьдесят тонн груза — ковш, до краев наполненный жидкой сталью.

Каждый раз, завидев, как за печью вспыхивает пламя и стены разливочного пролета освещаются так ярко, что становится явственно видной каждая заклепка на колонне,

Петр спешил посмотреть на выпуск плавки и не мог оторвать глаз от звездопада искр и мощного потока расплавленной стали, с тяжелым, только ей присущим шумом низвергавшейся в ковши. После такого зрелища подолгу было темно в глазах, но удержаться, чтобы не смотреть еще и еще, Петр не мог.

Только не у всех печей разрешали ему стоять. От некоторых гнали. Он объяснял это разными характерами людей, но уже много позже узнал, что гнали его от тех печей, где варили особо качественную сталь для танковой брони, ту сталь, которая создала славу нашим танкам и которой не было ни у гитлеровцев, ни у американцев. Там же, где варили обычную снарядную сталь, присутствие посторонних за грех не считалось.

Один раз подручный сталевара, молодой паренек, дал Петру свои синие очки и разрешил заглянуть в печь. Петр увидел длинный язык пламени, который яростно лизал поверхность бурно кипевшего металла. Это явление переворачивало сложившееся представление о теплопроводности и очень его заинтересовало. Все, что до сих пор видел он в состоянии кипения: молоко, вода, суп, — подогревалось пламенем снизу.

Подручный Федор Кравченко, широкоплечий, коренастый крепыш, оказался разговорчивым парнем. Расспросив Петра, кто он и откуда, Кравченко проникся уважением к своему сухопарому сверстнику, успевшему повоевать, и охотно удовлетворял его ненасытное любопытство.

Подручный показался Петру профессором своего дела. И понятно почему. Человеку, который ничего не знает в какой-либо области, всякий разбирающийся в этом деле хоть самую малость кажется глубоким знатоком.

Петр зачастил к новому знакомому. Когда тот работал в утренней смене, Петр, наскоро проглотив нехитрый обед, прибегал к нему во время обеденного перерыва; а когда приятель переходил в дневную смену, заходил после работы и надолго оставался у печи.

От Кравченко Петр узнал, что металлические кессоны, которые он монтирует, будут выложены огнеупорным кирпичом и заполнены кирпичной решеткой — насадкой, что в насадки сталевар попеременно подает то дым, который Кравченко называл не иначе как «продукты горения», то газ и воздух. Узнал Петр также, почему эти камеры называют регенераторами. Продукты горения, проходя через камеры, нагревают кирпичную насадку до предельно допустимой температуры — 1200 градусов. Затем сталевар направляет газовый поток в другие камеры, а в нагретые насадки пускают воздух и газ. Они забирают у насадок тепло, нагреваются. Таким образом, часть тепла, уносимого с дымом, снова возвращается в печь, тепло восстанавливается, регенерируется. Нагретый газ и воздух сгорают в плавильном пространстве при более высокой температуре, нежели если бы они были холодными.

Петра поразило это открытие своей гениальной простотой и вызвало еще множество вопросов. Собирая у Кравченко крупицы знаний, он охотно делился ими с монтажниками и теперь сам казался им знатоком металлургических дел.

— Не выйдет из тебя настоящего слесаря, Петро, — как-то заметил бригадир. — Человек должен к чему-то одному прибиться. А если будет мозги свои и туда и сюда раскидывать, на свое дело мозгов у него не хватит.

— Хватит, — улыбаясь, ответил Петр, невольно вспомнив Иванова. Тот тоже пророчил, что не выйдет из него партизана, а ведь вышел. Пусть не герой, но вышел.

Однако Петр понимал, что такое раздвоение, когда делаешь одно, а думаешь о другом, может плохо сказаться на работе, и старался изо всех сил трудиться как можно лучше. А сил все прибавлялось. Okрепли руки, привыкшие держать гаечный ключ и молоток, окреп он сам, и как ни корил его бригадир за склонность к чужой профессии, все же повышал в разряде.

Бывал Петр и в других действующих цехах, но ни один

не нравился ему так, как мартеновский. В доменном не заглянешь в печь, не увидишь, что там происходит, — темное дело. В глазок фурмы просматривается лишь крохотный участок. Только по приборам можно судить о том, что делается в домне. На блюминге, в том самом здании, откуда доносились отдаленные раскаты грома, меж двух огромных крутящихся валов легко сновал семитонный слиток стали, постепенно удлиняясь. Это казалось, по недомыслию, простым и потому малоинтересным.

То ли дело в мартене! Там все и зримо и сложно. Откроешь крышку — и перед тобой как на ладони поверхность кипящего металла в семьдесят квадратных метров: размер приличной волейбольной площадки.

Можно зачерпнуть металл длинной ложкой, вылить на чугунную плиту перед печью, определить, каков металл и что с ним делать дальше. Вот в этом умении и заключалось непостижимое для Петра и этим привлекавшее его искусство сталевара.

Кроме всего прочего, в мартене поражал ритм работы, азарт, владевший людьми. Каждую печь нужно было накормить металлическим ломом, известняком, рудой, напоить жидким чугуном, в каждой печи вовремя сварить сталь, выпустить ее в ковш и разлить по чугунным формам — изложницам, которые привозили в цех на вагонетках.

И когда Петр зашел однажды в диспетчерскую, откуда направлялась работа этого сложного цеха, ему показалось, что попал он на командный пункт, с которого ведется управление боем. Ежеминутно по селектору сюда докладывали о ходе операций на разных участках, и отсюда следовала команда, короткая и категорическая, как в бою:

- Подавайте ковши под печь номер тринадцать!
- Наливайте чугун для десятой!
- Двор изложниц, подавайте состав для восьмой!
- Шлаковый двор, отправляйте ковши в цех!

Петр с благоговением смотрел на человека, в голове которого вмещался весь цех в непрерывном движении.

Привлекала Петра и масштабность дела. На малой печи одна плавка весила сто восемьдесят тонн, на большой — триста двадцать. Из большой печи плавку выпускали сразу в два ковша по раздвоенному желобу, метко названному «штанами».

Триста двадцать тонн! Шестнадцать вагонов металла за один прием! У Петра даже дух захватывало при мысли, что один человек, сталевар, управляет такой машиной.

РАДОСТЬ И ГОРЕ РЯДОМ ЖИВУТ

День тот запомнился Петру надолго. Еще неделю назад строители узнали, что рабочие и инженеры треста «Магнитострой» награждены орденами и медалями. Но в печати был опубликован список только тех, кто награждался орденом Ленина. А вот сегодня в клубе должны вручать ордена и медали. Секретарь комсомольской организации дал Петру билет и наказал строго-настрого быть непременно.

Одетый в свой выходной костюм — новенькую черную сатину спецовку, — Петр явился во Дворец металлургов, как было указано в билете, к семи часам и с трудом нашел место в обширном зале. Было шумно. Кое-кто из строителей уже подвыпил на радостях, из фойе доносились звуки гармошки, под которую лихо отплясывали «русскую». Соседом Петра оказался Семен Падун, парень, который завоевал звание чемпиона по зоске среди учеников ФЗО — он подбросил ее ногой, не уронив на землю, девяносто восемь раз.

— Что, Бешеный, за орденом пришел? — спросил Падун с явной издевкой.

— Да я давно уж не бешеный, — миролюбиво ответил Петр. — Как в настоящую бригаду попал, успокоился.

Но, заметив насмешливый огонек в глазах у парня, решил поквитаться: — Все еще зоску бьешь?

— Бери повыше! — с достоинством произнес Падун. — Правый нападающий в футбольной команде.

— Значит, по-прежнему ногами работаешь?

Зал вдруг стих, словно опустел. На сцену вышли члены президиума. Был зачитан Указ о награждении треста орденом Ленина, и началась волнующая процедура вручения орденов. Один за другим поднимались на сцену каменщики, монтажники, электрики, бетонщики, машинисты, получали удостоверения и ордена, жали руки и под аплодисменты спускались в зал. У Петра уже болела кожа на ладонях, но каждый раз он неистово аплодировал, охваченный общим порывом.

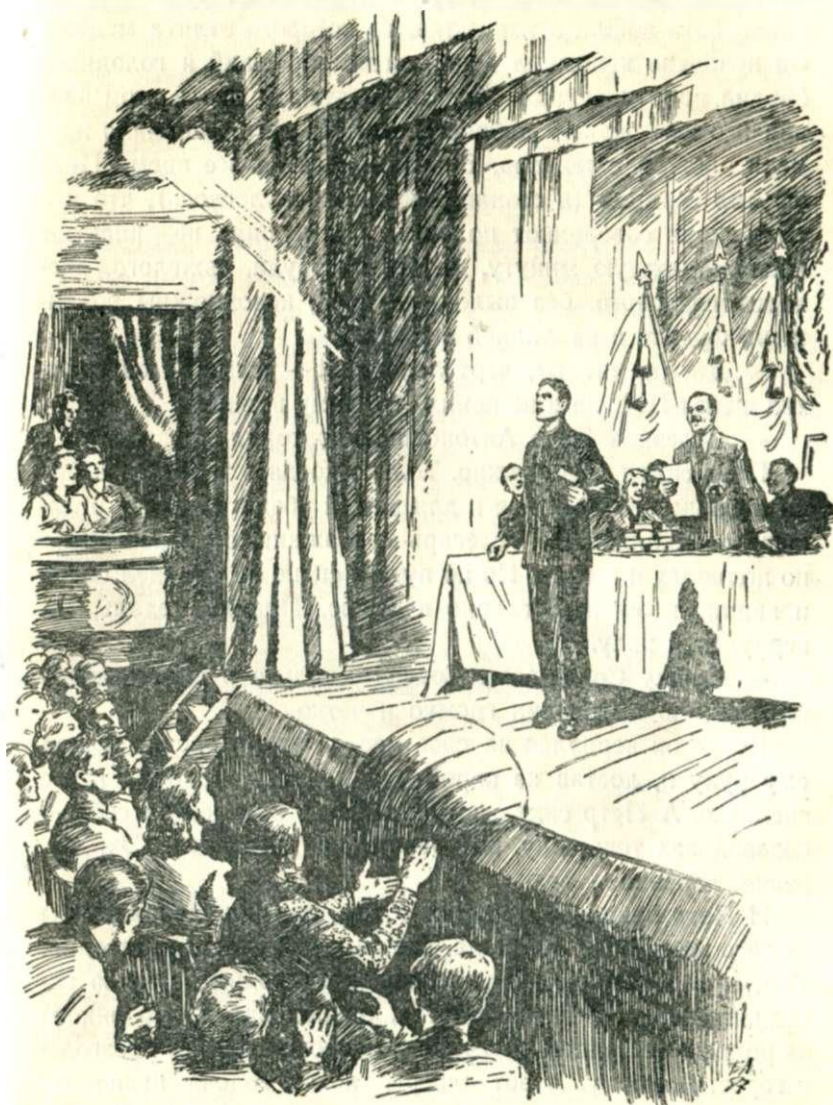
— Семен Падун! — донеслось со сцены.

Падун растерянно уставился на Петра, оглянулся по сторонам, как бы ища подтверждения тому, что вызван именно он, а не кто другой. Но тут его толкнули в бок, и он пошел по проходу, неуверенный, робкий, словно ждал, что его вот-вот вернут на место. Таким он и вышел на сцену. Представитель наркомата пожал ему руку, вручил награду. Падун повернулся лицом к залу, красный от смущения, хотел что-то сказать и вдруг неожиданно для всех несколько раз перекрутился на одной ноге, сбежал по лестенке в зал и с подскоком, под общий смех вернулся на свое место.

— Был пацан, пацаном и остался, — смеясь, сказал Петр, испытывая чувство досады и зависти.

Падун посмотрел на него с явным превосходством и ничего не ответил. Петра еще больше задело за живое — кому-кому, а этому зосочному чемпиону, который крепче других ругал его за добровольное поступление в школу, он не мог простить такой победы над собой.

На сцену вызвали бригадира Петра. Он степенно пожал руку вручавшему награду и сказал, что медаль эту заслужил не он, а вся бригада, назвал своих слесарей и в



— Служу Советскому Союзу! — выговорил он громко и четко,

их числе Селезнева. У Петра потеплело на душе — и его капли пота вошли в тот сплав, из которого отлита медаль. Он невольно вспомнил день, когда, обросший и голодный, бродил вокруг дворца. Мог ли он думать, что в этом здании и о нем скажут доброе слово! По сути, так мало времени прошло с тех пор. В первый раз за все время Петр ощутил сердцем (в сознании это давно улеглось), что и в тылу люди совершают подвиги. Пусть они не рискуют жизнью каждую минуту, но без их труда, тяжелого, двенадцатичасового, без выходных дней, невозможны подвиги на фронте и за линией фронта.

— Да иди же ты, черт лопухий! — услышал он громкий шепот Падуна и не понял, что тому нужно.

— Селезнев Петр Антонович! — повторил председатель.

Петр сидел неподвижно. Только когда в третий раз была названа его фамилия и для вящей убедительности оглашена специальность — слесарь-монтажник, он нерешительно поднялся и вышел. Но по пути к сцене он овладел собой и зашагал чеканно, словно в строю. Приняв медаль, повернулся к залу.

— Служу Советскому Союзу! — только и смог выговорить он, но выговорил громко и четко.

Когда он вернулся на свое место, Падун крепко пожал ему руку и, достав из коробочки медаль, приколот к его спецовке. А Петр сидел потупившись и краснел за себя — позавидовал товарищу, поздравить не догадался. Эх, деревня, деревня...

И Петр невольно подумал о том, как порадовалась бы за него мать, если бы знала, где он и как счастлив сегодня. Там, в партизанском отряде, когда он ходил на краю гибели, голодал, тонул в болотах, он радовался, что никого из родных нет рядом. Легче было переживать все невзгоды и горести самому. А вот теперь, когда голова пьяна от счастья, — вот теперь бы порадовать их, обогреть теплом...

Много горя видел Петр за свою небольшую партизан-

скую жизнь, много крови, много смертей. Гибли рядом товарищи по отряду, гибли люди в селах от рук карателей. Встречал он поседевших детей, матерей, обезумевших от горя, вынимал из петель повешенных и не плакал, только зубы стискивал до боли в висках. А сегодня у него влажные глаза. Слишком мало радости видел он до сих пор, не привык к ней и не знал, что нельзя ее глушить, прятать от людей. Вот почему больше чем когда бы то ни было он почувствовал в этот вечер свое одиночество.

На другое утро Петр проснулся с тем радостным ощущением, какое испытывал еще в детстве, предвкушая удовольствие от предстоящей рыбалки или похода за грибами, — проснулся и не сразу понял, отчего у него так светло на душе. А когда вспомнил, быстро надел спецовку, на которой красовалась медаль, и помчался в цех. У него был выходной день, первый за четыре месяца, а Кравченко работал в утренней смене, — значит, можно было подольше побыть у печи.

Кравченко порадовался успеху приятеля: двадцать лет — и уже награжден!

— Шел бы работать к нам, Петро, — сказал он. — Парень ты, видать, способный, толковый, нам такие нужны. Интересное наше дело. Глубина безграничная, это тебе не гайки крутить.

— Ну что ты! — возразил Петр. — У меня уже разряд есть, а тут заново переучиваться надо, сначала начинать...

Кравченко расхохотался:

— Тоже мне академик! Полгода поучился, и ему, вишь, трудно переучиваться. Да ты пойми: на твоем деле больше руки работают, а тут надо мозгами ворочать. Сталевар — самая почетная профессия.

Петр решительно замотал головой. Ему казалось, что он никогда не постиг бы даже искусства подручного — умело доставать пробу, бросать лопатой заправочный материал точно в указанное место. Он с восхищением следил

за Кравченко, когда тот, взяв ложку с трехметровой рукоятью, вводил ее в печь и вертел там, пока она не покрывалась коркой шлака, чтобы не пристала сталь, а потом, зачерпнув расплавленный металл, выливал его на плиту в одну точку. Петр был убежден, что никогда не научится узнавать содержание углерода в стали по искрам, то звездатым, пушистым, то мелким, как от раздуваемого ветром костра, определять температуру свода на глаз, как это делали сталевары. Да, все это, несомненно, очень интересно, но слишком сложно — не для него. Он считал, что в маргоне работают какие-то особые люди, у которых есть врожденная способность понимать пламя и металл, и что эта способность чем-то сродни музыкальному слуху: у одного он есть, у другого — нет, и, как ни старайся, без слуха песню не споешь.

Непонятно, что руководило Кравченко, но он изо всех сил старался заинтересовать Петра своей специальностью, которую самозабвенно любил, и продолжал посвящать его во все тонкости сталеварения. Сам он в ремесленное училище пошел из семилетки, готовился поступить в техникум, много читал, говорил о печи, о металле, о плавке с заражающим увлечением и в конце концов передал это увлечение своему восприимчивому приятелю.

В тумбочке у кровати Петра появилась первая книга по металлургии «Что нужно знать сталевару». Кто знает, появилась бы другая книга — допустим, «Оборудование металлургических цехов», — и восторжествовало бы давнее пристрастие к машинам. Но Кравченко подарил именно эту книгу, и теперь Петр на досуге внимательно, страница за страницей, формула за формулой, постигал азбуку сталеварения и с каждым днем убеждался, что, действительно, глубина этого дела необъятная. Он и в школе любил те предметы, которые заставляли подумать, — физику и химию. А здесь были и физика и химия.

Очень часто решение приходит не в процессе активного размышления, а словно само собой. Постепенно разрознен-

ные мысли, вспыхнувшие и, казалось бы, потухшие желания кристаллизуются в прочный монолит, и неожиданно для самого себя человек вдруг понимает, как именно нужно ему поступить, чувствует, что иначе поступить не может.

Так случилось и с Петром. Он накопил учебников и зашел за подготовку в техникум.

Три года назад на островке, затерянном среди болот, измученные голодом, оглушенные взрывами бомб, Петр и Миляев часто мечтали вслух. Кончится война, уедут они в Сибирь, в таежную деревню, и будут работать: Петр — в МТС, Миляев по специальности — бухгалтером в колхозе. Хотелось пожить в полной тишине, на земле, не опаленной огнем, не пропитанной кровью, пожить там, где ни сожженные деревни, ни окопы и дзоты, ни сиротские слезы не напоминали бы об этой страшной поре. Только мечта поддерживала иссякающие силы и провела их через болота и огонь.

Об учебе тогда не думалось, хотелось самого малого — покоя. Но вот наконец настал этот радостный день, которого все ждали, в который все верили, хотя и не знали, когда он наступит. Отгремели последние залпы, люди отпраздновали День победы. Душа Петра стала оттаивать, и с новой силой проснулась в ней прежняя тяга к учебе.

А учеба давалась нелегко. Более четырех лет прошло после школы, и каких лет! Многое начисто выветрилось, голова отвыкла от постоянной, систематической работы. Сдавали нервы. Были и бессонные ночи и кошмарные сны. Даже в полусне, когда мозг уже не бодрствует, но еще и не спит, перед глазами вставали страшные картины — болтающаяся на дрогах голова изрубленного Симанкова, залитый кровью Иван Селезнев, седая девочка — единственное живое существо в отбитой партизанами деревне. И чаще всего двое варварски замученных карателями — муж и жена. После беспокойной ночи голова гудела, мысли путались, а буквы прыгали в разные стороны как попало.

.. Большой нервной нагрузкой было и ожидание вестей из дому. Петр что ни день отправлял туда письма, но ответа не приходило. Наконец, когда он уже начал привыкать к мысли, что остался один-одинешенек, прибыло долгожданное письмо со штампом «Витебск». Но какое это было письмо!

«Дорогой мой сыночек!

Получила твою весточку, и опять вернулся ты с того света. Не чаяла, не ждала, думала — погиб ты, как отец твой, незабвенный Антоша. Живу я теперь в Витебске. Деревню нашу спалили изверги дочи́ста, три избы только уцелели. От подворья нашего ничего не осталось. Печь и ту по кирпичу разобрали, только камни торчат, на которых клуня стояла. Я и брат твой Вася и сестра Мария шлют тебе привет и низко кланяются. Спас нас господь бог от пули вражьей, от голодной смерти в лесу, от погребели в топи, дал дожждаться своих и от тебя известия. И не знаю, как уж тебе написать, но душа молчать не может. Погубили изверги невесту твою Нину за брата ее партизана. Надругались над ней, проволокли по селу в чем мать родила и застрелили. Три дня хоронить ее не давали, лежала она другим на устрашение, пока родичи ее не выкрали. Жду не дождусь того дня ясного, когда...»

Не дочитал Петр письма и выскочил на улицу, чтобы не видел никто, что с ним делается. Ходил, не разбирая дороги, натыкался на прохожих, поворачивал, куда поворачивали ноги, останавливался, когда они останавливались. Нет, не отомстил он до конца фашистским псам! Рано направили его в тыл, поздно узнал он обо всем.

И впервые Петр пожалел о том, что война кончилась, что ему некуда ехать мстить и некому уже мстить за Нину, за мать, за отца, за испепеленную деревню, за искалеченную, израненную Беларусь. Получил он это письмо, когда шла война, не пробыл бы он на заводе ни одного дня, ни одного часа!

Петр запил. Три дня не выходил на работу, и, если бы не нашли товарищи в его тумбочке это письмо, судили бы парня как прогульщика.

На четвертый день, опухший, с погасшим взглядом и опустошенным сердцем, явился он на работу, но руки дрожали с похмелья и дело не клеилось. Если бы его бранили, корили или пугали — возможно, напился бы он еще и еще; но ни слова упрека не произнесли ни приятели, ни бригадир. Петр узнал, что его прогул покрыли — выписали задним числом отпуск на три дня. Это тронуло его до глубины души, и он продолжал работать с удвоенной яростью.

Теперь Кравченко частенько заходил в общежитие к Петру, забирал его к себе домой. Кравченко не умел говорить слов утешения и не пытался это делать. Он вел себя так, словно ничего не случилось. Усаживал Петра за стол, заставлял решать задачи по алгебре, помогал разобраться в каком-нибудь сложном вопросе, и такое поведение друга успокаивало всего сильнее. Состояние Петра заметно улучшалось: только по утрам он стал просыпаться от толчка в сердце, от тупой боли, разливавшейся по всему телу.

Точно так, как первые дни Петр глушил горе водкой, так сейчас он упорно заглушал его учебой. Ни одного часа, ни одной минуты без дела! Спать ложился уже в состоянии крайнего изнеможения, когда веки смыкались сами, хоть ставь под них подпорки.

Осенью сорок шестого года он держал экзамены в техникум Министерства трудовых резервов и выдержал их. У него не было документов об окончании семилетки, и по формальным причинам его не имели права даже допустить к испытаниям.

Но свет не без добрых людей. Просмотрев партизанские документы, приемная комиссия зачислила Селезнева условно: если учиться будет хорошо — останется, если плохо — сам уйдет.

Глава четвертая

ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА

Начальник мартеновского цеха завода «Запорож-сталь» Резенков долго вертел в руках диплом на имя Петра Антоновича Селезнева, окончившего Магнитогорский техникум Министерства трудовых резервов. Обычно окончившие это учебное заведение поступали мастерами в ремесленные училища, и начальник цеха ни разу не имел с ними дела.

— Так мастер, значит, — раздумчиво сказал он. — А что ты, мастер, умеешь делать?

Селезнев молчал.

— Плавки пускать умеешь?

— Н-нет.

— Значит, уже не мастер. Сталь варить умеешь?

— Нет.

— Значит, и не сталевар. Выпускное отверстие закроешь?

— Нет! — уже зло ответил Петр.

— Значит, и не первый подручный. Кем же тебя принимать? Возьмешь на работу, а ты через неделю должность себе начнешь требовать соответственно диплому. На собраниях будешь разоряться: как же, невнимание к молодым специалистам и тому подобное. А ну-ка, специалист, дай зачетку.

Резенков внимательно просмотрел перечень сланных предметов и оценки. Учился парень хорошо. Пройденные дисциплины полностью входили и в программу обычного металлургического техникума. Кроме них, еще методика производственного обучения, педагогика и психология.

— Психология?.. — протянул Резенков. — Так к какому типу ты себя причисляешь?

Петру не хотелось отвечать на этот вопрос — от него пахло открытой издевкой, но он все-таки ответил сквозь зубы, глядя под ноги:

— К холерикам.

— Вот как? А почему же ты не пошел по прямому назначению? — уже миролюбиво спросил Резенков. — Учили тебя, чтобы ты других учил, а ты в самое пекло лезешь.

— Чтобы других учить, нужно самому уметь многое, — буркнул Петр, не поднимая головы.

Решив, что разговор кончен, он взял со стола документы, сунул в карман.

В суровых глазах Резенкова на миг появилась какая-то теплика. Ответ ему понравился. Парень был явно не из ягнят, на мартеновской тропе как раз такие и нужны. Ягнята на ней долго не удерживались, сворачивали в сторону.

— А что тебя в Запорожье привело? — продолжал пытывать Резенков.

И на этот вопрос отвечать не хотелось.

Петра оставляли в Магнитке, посылали в Челябинск, но его тянуло на юг. На Урале он много слышал от эвакуированных сталеваров о Запорожье, и у него создалось впечатление об этом городе, как о рае земном. И Днепр, и зелень, и фрукты, и, самое главное, — короткая и мягкая зима. Намерзся он в партизанских дозорах и засадах, намерзся и в Магнитке, работая на монтаже в лютые морозы под открытым небом, намерзся и в техникуме в довольно-таки легком для того климата обмундировании, и потянуло к теплу. Да еще посмотрел киножурнал «Запорожье возрождается». В кино и на фото даже захудалый город может выглядеть красавцем, а Запорожье — и подавно. Только проспект Ленина чего стоил! Был и еще весьма серьезный мотив. На преддипломной практике приглянулась ему лаборантка мартеновского цеха. Провели они вместе несколько вечеров, тех вечеров, когда без умолку говорят обо всем на свете и никаких чувств, кроме дружеских, не испытывают. Только после отъезда Ларисы с семьей в Запорожье Петр понял, как глубоко запала она в душу. Но не докладывать же обо всем этому суровому человеку!

И Петр ответил сухо:

— Захотел сюда — вот и все.

— Третьим подручным сталевара пойдешь? — так же сухо спросил Резенков.

Петр недоверчиво посмотрел на него: испытывает или всерьез предлагает?

— Пойду.

— И приставать с продвижением не будешь?

— Нет.

Резенков подписал приемный листок, поставил дату: 20 августа 1950 года, и Петр, с облегчением вздохнув, отправился осматривать цех, в котором предстояло работать.

Чего-чего, а тепла в эту пору вдосталь. Лето стояло знойное, без ветров и дождей, и в цехе было душно. Петр даже призадумался: а выдержит ли он, проживший на Урале семь лет, здешний климат?

«Не беда! Пар костей не ломит», — подбодрил он себя.

Еще в техникуме преподаватель спецдела говорил студентам, что всякий истый сталеплавильщик начинает осмотр цеха не с печного пролета, а с шихтового двора, где грузят все то, что в твердом виде поступает в мартеновскую печь. А Петр хотел быть истым сталеплавильщиком и, подавив в себе искушение зайти взглянуть на печи, сразу отправился на шихтовый двор.

Название это давно уже устарело. В давние времена все шихтовые материалы хранились под открытым небом, и катали зимой и летом, в жару и стужу, в пургу и дождь грузили их в железные ящики, установленные на вагонетках, — мульды, которые потом катили к печам. Шихтовый двор «Запорожстали» представлял собой огромное крытое здание, оборудованное кранами. Железный лом грузили магнитами, сыпучие материалы — руду, известняк, огнеупорные порошки — грейферами, похожими на гигантские челюсти. Сомкнутся они, ухватят с кубометр руды, поднесут ее к мульдам, а там разомкнутся и высыпают. Потом паровоз, настоящий паровоз широкой колеи, подает этот состав к печам.

Заглянул Петр и в миксерное отделение, где на высоком бетонном постаменте высился миксер — бочкообразное вместилище для жидкого чугуна. «Такой же, как в Магнитке, — отметил он, — на тысячу с лишним тонн. Значит, задержек с чугуном не будет».

Ковши для жидкого чугуна подавали к миксеру электровозы. Огромная бочка приходила в движение, наклоняла к ковшу свой желоб-нос, и по нему, пока ковш не наполнялся, сбегала струя чугуна. На рабочей площадке три пути: один — у самых печей для состава с мульдами, далее широкие пути в десять метров между рельсами — для завалочной машины, и пути для подачи ковшей с жидким чугуном. По этим последним путям, когда они были свободны, бегали и автомашины.

И вдруг Петр услышал знакомый голос и, оглянувшись, увидел обер-мастера Бесчастного, того самого, чья дочь запала ему в душу.

— Ну, как тебе цех? — с гордостью спросил Бесчастный, пожимая руку Петра своими прямо-таки железными пальцами.

— Жарковато.

— Ух ты, бисова твоя душа! — не на шутку возмутился Бесчастный. — Послать бы тебя туда, где я при царе работал, в старый мартен в Юзовку! Рабочая площадка шесть метров, от пола до крыши — пять метров. Пожарился бы в такой конуре, так тут бы тебе, как в церкви, прохладно показалось... — И спохватился: неудобно читать нравоучение человеку, которого давно не видел. — Приехал на экскурсию или насовсем?

— Насовсем. Третьим завтра на работу выхожу.

— Вот за это молодец! Наше дело надо практически с самых аздов изучать. Тогда тебе цены не будет. Я ведь много начальников на своем веку перевидал и многих за нос водил. Теория теорией, а без практики здесь ни шагу.

Цех был такого же типа, как и магнитогорский, только еще просторнее. Остальные здания — двор изложниц, под-

готовящийся составы под разливку, стрипперное отделение, откуда раскаленные слитки, извлеченные из изложниц, подаются в прокат, шлаковый двор, где освобождаются от шлака чугуны конической формы ковши, — Петр осматривать не стал: все уже известное, типовое, такое же, как в Магнитке и Тагиле.

Оформив прием и получив направление, как все молодые специалисты, в заводскую гостиницу, Петр пошел бродить по городу. Старую часть он видел, когда ехал с вокзала на трамвае, и она его привлекла мало — небольшие домики, тонувшие в зелени деревьев, узкие, мощенные булыжником улицы, а в новом городе, растянувшимся на добрый десяток километров, было что посмотреть. Проспект Ленина, самая широкая и благоустроенная улица, которую приходилось до сих пор видеть Петру, поразила его красивыми высокими домами, сверкающими витринами и шумной, по-южному оживленной толпой гуляющих. Минував здание горсовета, Петр увидел то, что давно хотел видеть, — красиво изогнутую линию плотины Днепрогэса и залитое огнями величавое здание электростанции. Справа от плотины плескался легкими волнами обширный водоем, по которому скользили парусные лодки, слева западало вглубь полуобнаженное русло низовья Днепра с затейливым архипелагом камней, из которых многие когда-то были подводными.

Перед Петром лежал обширный остров Хортица, где сложилась в давние времена легендарная, воспетая кобзарями, прославленная на весь мир Гоголем Запорожская Сечь. Где-то здесь, по глубокому убеждению Петра, носился в длинной свитке и широченных шароварах, с трубкой в зубах Тарас Бульба, отважный казак, истый патриот, покаравший предателя-сына. Петр задумался: вспомнился сын бургомистра Вениамин Стрешнев. От рук своих отцов умерли и Андрий и Вениамин, только один — за измену родине, другой — за верность ей.

Петр полной грудью вдохнул сырую прохладу, донесен-

ную ветерком с Днепра, и подумал, что в таком городе он готов прожить всю жизнь. Пусть он вдали от отчего дома, но зато есть здесь друг по техникуму, который приехал с ним и поступил на тот же завод. Он мог пойти сейчас к нему, вытащить из комнаты, бродить с ним и разговаривать. Мог зайти еще в дом Бесчастного, к той девушке, которая приглянулась в Магнитогорске.

И все же Петр не спешил к Ларисе — удерживало самолюбие. В ФЗО он считался одним из первых учеников, в бригаде был знатным слесарем, в техникуме — образцовым студентом. Его дипломный проект — применение кислорода в мартеновских печах — высоко оценила комиссия. А завтра он пойдет в цех и будет там последним подручным. Теоретических знаний, чтобы работать в мартене, у него хватало, а практических навыков, кроме привычки к труду и умения слесарить, не было.

В этот вечер Петр сетовал на свою непрозорливость. Если бы он окончил ФЗО, которое готовило металлургов, да поработал два с половиной года, он уже наверняка был бы первым подручным. Способные парни за такой срок и сталеварами становились. Но к способным Петр себя не причислял. Как ни присматривался он во время производственной практики к раскаленному добела своду, так и не научился определять критическую температуру его, ту грань, которую переходить нельзя. Иначе кирпич начинает плавиться, образуя сосульки, похожие на обычные ледяные. Даже лопатой не умел он орудовать как следует и далеко не всегда заправочный материал — доломит, магнетит, — брошенный им в печь, летел кучкой и именно туда, куда нужно, — в объединенное шлаком место. Чаще он срывался с лопаты веером и не пролетал положенные семь метров. А иногда лопата при броске вырывалась из рук и сама летела в печь. В отношении умения Петр недалеко ушел от тех, кто поступал в техникум прямо со школьной скамьи и кончал его, ничего не научившись делать.

Вот завтра и придется начинать все заново, с лопаты.

МЕТАЛЛУРГИИ РЯДОВОЙ

Но даже не лопату дали Петру в руки, когда он вышел на смену, а метлу, самую обыкновенную метлу, которой подметают улицы, и заставили убрать и полить водой из шланга рабочую площадку перед печью. А когда он выполнил это задание, послали под печь убирать шлак, выплеснувшийся из переполненного ковша. И все это надо было делать быстро, потому что у третьего подручного работы хоть отбавляй.

Надо разбить на куски и наносить к печи раскислители — ферромарганец и ферросилиций, доставить огнеупорную глину, принести баллон с кислородом к выпускному отверстию на тот случай, если придется прожигать отверстие, и, самое тяжелое, — убирать шлак, когда он выплеснется из печи или зальет площадку под печью.

За неделю спецовка Петра пропиталась потом и задувала от соли, и это ощущение жесткой, неподатливой ткани напоминало партизанские дни, когда промокшая при переходе реки одежда мерзнет на тебе и покрывается инеем.

О конце смены Петр всегда думал с содроганием, и во все не потому, что хотелось поработать еще. В это время приходилось подметать рабочую площадку, и он стеснялся девушек, которые шли на смену в лабораторию. Среди них была и Лариса.

С метлой и шлангом Петр ходил на дворника и, как ни убеждал он себя, что всякий труд почетен, всегда мрачнел и готов был сквозь землю провалиться, когда девушки видели его за таким не подходящим для техника занятием. Там, в Магнитке, в форме техника трудовых резервов он выглядел куда эффектнее.

А девушки, видевшие его замешательство, нет-нет, да и подтрунивали над ним:

— Вот муж попадетсЯ кому-то! Таким специалистом по

домашней уборке будет! Останется только научить его обед готовить и... сталь варить.

Один раз Петр не выдержал и окатил насмешниц водой из шланга с головы до ног. Девушки завизжали, замахали на него кулачками и, оттягивая прилипшие к телу платья, убежали, раздосадованные, но и довольные тем, что допекли парня.

Как на беду, сцену эту увидел начальник цеха. Он накричал на Петра и долго потом делал вид, что не замечает его.

Петр не раз пожалел о своем поступке. Девушки разо-



шлись больше прежнего и изощрялись как могли: изводили свою жертву при каждом удобном случае.

И вдруг девушки присмирели. Проходя мимо него, уже не отпускали острот и шуток, а только лукаво поглядывали на Петра, и тот никак не мог понять, что же произошло.

Объяснил ему все подручный с соседней печи. Он нес пробу в лабораторию и услышал там перепалку лаборанток. За Петра вступилась Лариса, вступилась горячо, как это может сделать человек, которому далеко не безразличен тот, которого взяла под защиту.

У Петра прибавилось смелости, и в один из студеных февральских вечеров, когда бродить по улицам могут только люди, согретье внутренним жаром, он признался Ларисе в своем чувстве. А 7 марта в доме Бесчастных торжественно отпраздновали свадьбу.

Прошло семь месяцев с тех пор, как Петр поступил в цех. Семь месяцев — немалый срок для человека, который рвется к печи, к металлу, а, работая по-прежнему третьим подручным, Петр иногда даже не успевал заглянуть в печь. Однако он помнил уговор — не требовать продвижения — и терпеливо ждал, не напоминал о себе, а при встрече с начальником цеха даже глаза отводил в сторону, чтобы тот не прочитал рвущейся наружу просьбы.

Ему, первому танцору в техникуме, удалось сравнительно быстро усвоить эти сложные, быстрые и ритмичные, как в танце, движения. Прежде он нес лопату на согнутых руках, мешкал у открытого окна, приноравливаясь к тому, как бы бросить половчее, и одежда на нем дымилась. А теперь все получалось легко, с ходу, с разворотом, словно у дискобола. Только на один почти неуловимый миг жар обжигал его лицо. Петр понял, что искусная работа лопатой доставляет не меньше удовольствия, чем стрельба в цель, и даже полюбил свою именную, пристрелянную, как винтовка, лопату с округлой обрубленной кромкой, с выгнутой по своему вкусу ручкой, отшлифованной стеклом и мозолями.

Мастер Пугачев, независимый с виду старик, с жиденькой бородкой и удивительно несмелыми голубыми глазами, только одобрительно побряхтывал, следя за его работой, и не бранился, когда случались промахи, — понимал: не каждое лыко да в строку. В апреле он поставил Петра к лучшему первому подручному Метленко. Спокойный, уравновешенный, располагающий к себе дружелюбием, Метленко принялся терпеливо обучать своего помощника искусству закрывать и открывать выпускное отверстие. На практических занятиях в техникуме Петру часто приходилось следить за работой у отверстия, и все ему казалось понятным и доступным. Однако пришлось убедиться, что простота эта была кажущейся, что и этому делу надо учиться. Закрыв отверстие слабо, небрежно — плавка может уйти в него сама, и тогда сто восемьдесят тонн стали зальют разливающий пролет, сплавят безобразным металлическим коржом стенды, на которых устанавливают ковш, вагоны на путях и даже вагонетки с изложницами. Можно закрыть отверстие и так, что его не откроешь вовремя, и металл в печи будет выпущен не по анализу, а то и просто бракованным. И при одной мысли, что виновником неприятности может быть он, у Петра холодели отмороженные пальцы рук и ног.

На этой работе уже можно было урвать время, чтобы заглянуть в печь и спросить о том о сем у сталевара. Стыдно было, имея диплом техника в кармане, выдавать свое невежество в элементарных практических вещах, но Петр, пересилив себя, шел на это. На производственной практике в техникуме он делал большую ошибку: во всем старался разобраться сам, считал, что неудобно задавать рабочим вопросы — чего доброго, сочтут тупицей, — и потому многого не усваивал. С каждым годом учебы это неудобство все более усугублялось — всякие пробелы надо было восполнять раньше: к новичкам относятся снисходительнее.

Сталевар Волжан, в бригаде которого работал Петр,

сам был техником и относился к людям исключительно доброжелательно. Он первый подсказал Петру, как нужно определять критическую температуру свода, — сравнивать цвет свода с цветом пламени. Как только эти цвета становятся схожими, но еще разнятся — смотри в оба: свод накануне оплавления.

Ни в одной книге он не вычитал такого разъяснения, а преподаватель спецдела в техникуме не мог рассказать, потому что сам в цехе никогда не работал и за строками учебников, содержание которых довольно сносно излагал, не видел живого дела.

Раздражал Петра в ту пору еще один педагог, преподававший технику безопасности, прозванный студентами «опасности техники». Свой предмет он знал хорошо, но, кроме него, — ничего. Однажды, когда он сказал, что учился в институте по бригадному методу (зачеты ставили всей бригаде по ответу одного студента), Петр съязвил:

«Вы, должно быть, сдавали за бригаду один свой предмет, а все остальное сдавали за вас другие».

В ответ преподаватель только грустно улыбнулся — очевидно, предположение было не так уж далеко от истины.

Пример этих двух людей убил в Петре желание стать педагогом — не хотелось уподобляться им. И если неприятно было на лекциях краснеть за них, то, думал он, еще мучительнее было бы краснеть за себя. Знать, знать как можно больше и уметь делать как можно лучше — стало девизом Петра.

Петр никогда не задавался великими целями, понимая, что достигаются они великими людьми. А великие люди лишь восхищали его, будили желание подражать — и только. В партизанском отряде примером для него служили не прославленные Линьков и Федоров, а те, чьи подвиги были ближе, проще и реальнее, — Симанков, Воронов, Кирьянов. И теперь, работая в цехе, он тоже ставил задачи реальные, достижимые, как бы поднимающиеся по ступень-

кам. Работать у отверстия так, как Метленко, определять температуру свода и металла с такой точностью, как Волжан. Да только ли они? Вокруг было немало людей, с которых следовало брать пример.

Петр не терял из виду перспективу, но его стремления пока дальше овладения искусством сталевара не распространялись. О работе мастером он и не мечтал — это казалось совершенно непостижимым и недостижимым.

Как установить по цвету и жидкоподвижности стали, сливаемой на плиту, достаточно ли нагрет металл и разольется ли он по изложницам, не застынет ли в огнеупорных трубах, куда попадает струя из ковша? Как узнать по виду искры, сколько в металле углерода, узнать с точностью химического анализа — до двух сотых процента? Как определить по виду поверхности стали в стаканчике, сколько в ней марганца, и как поведет себя металл в изложницах — вспенится и осядет, образовав вместо плотных слитков полые внутри, тонкостенные, или, наоборот, станет расти как тесто, переливаться через край изложниц?

Петр видел, что и люди, проработавшие десятки лет, допускали ошибки и, когда их журили на рапортах, только слабо отговаривались: мартен, мол, не конфетная фабрика, раз на раз не приходится, на всякую старуху бывает проруха.

И ему порой казалось, что выбрал он не свою дорогу. Куда проще с машинами! Там все поддается расчету, замесу. Если длина болта двадцать пять миллиметров, то никто не скажет, что он короче или длиннее. А здесь даже Пугачев, проработавший у мартена добрых три десятка лет, волнуется, определяя перед выпуском на глаз температуру плавки. И не раз расходились мнения сталевара и мастера. Почему-то сталевар всегда считал, что плавка «горяча, как спирт», «разольется, как масло», «хороша так, что сам бы ел, да деньги нужны», а мастер требовал еще подержать, еще подогреть, еще и еще раз слить пробу на плиту.

Много уже успел пережить Петр волнений и тревог, и ему казалось невозможным вот так всегда гореть, волноваться из-за каждой плавки, казалось, что не выдержит он этого испытания огнем. «Нет, быть мастером, — думал Петр, — это удел флегматиков, людей, которые все переживают спокойно, ни за что особенно не болеют». Вот в отряде был у них разведчик — так тому, что ни случись, все нипочем. Напоролись на засаду — он и глазом не ведет, будто именно здесь, в этом месте, ее и ожидал. А если за ухом выстрелит, он только через минуту обернется. Вот был бы мастер! А из него, Петра, мастер не получится — темперамент-то не переделаешь. Сколько лет нужно, чтобы притупилась впечатлительность! И притупится ли она когда-нибудь?

Петр по-настоящему завидовал спокойным, размеренным в движениях людям и, как ни старался выработать эти черты в себе, оставался прежним — быстрым, нервно-подвижным.

Единственно, чему научился он еще в отряде, — так это владеть мышцами лица, не выдавать своих переживаний, брать себя в руки в самые опасные моменты. И странно получалось. В засаде, перед боем всегда колотила его нервная дрожь, даже глаза порой застилал какой-то туман; а начинался бой — озноб проходил мгновенно, рука становилась твердой и глаз зорким. Невероятный внутренний накал обострял все чувства, нужные в бою, и глушил те, что мешали бою.

И вот наконец еще одна ступенька производственной лестницы преодолена — Петра назначили первым подручным сталевара на пятую печь.

Как только он вышел на работу, мастер послал его готовить отверстие к выпуску плавки. Петр подделал отверстие, оставил в нем небольшое количество огнеупорной массы и стал ждать команды мастера.

«Как пойдет металл?» — тревожно думал он.

Петр имел основание для беспокойства. Он был уже

свидетелем разных аварий. Иногда металл шел медленно, слабой струей, застывал на дне ковша. В этом случае пробку, закрывающую отверстие стаканчика в ковше, не удавалось поднять; чтобы начать разливку, ее приходилось прожигать кислородом, и потом сталь разливали непрерывной струей и обливали изложницы, вагонетки, сцепления. А то металл шел в верхней части отверстия, и оставшийся порожек задерживал в печи пятнадцать — двадцать тонн металла. Но пока Петр был только свидетелем таких аварий и больше всего опасался стать виновником их.

Из-за печи крикнули: «Пускай!» — и Петр со вторым подручным ударили в отверстие несколько раз большим стальным шомполом. Выбрасывая вверх гребешки пламени, металл вырвался из печи и ринулся мощной струей в ковш.

Петр с облегчением вздохнул и вытер пот на лбу и на глазах.

Через четыре — пять минут сталь в ковше начала покрываться шлаком. Шлак быстро чернел, и сквозь затвердевшую корочку его то здесь, то там пробивались лучики фиолетового огня.

Когда Петр закрывал отверстие, он думал об одном: сделать это как можно надежнее, чтобы не ушла плавка, и трамбовал огнеупорную массу что было сил. Он знал: после него трудно будет разделять отверстие, но сейчас это мало его смущало. Главное, избежать аварии; главное, лишь бы не ушла плавка.

Петр плохо спал ночь и, окончательно проснувшись чуть свет, побежал в цех.

На печи его встретили бранью. Отверстие разделали с трудом, плавку выпустили не по заказу, с низким содержанием углерода. Петр слушал попреки с виноватым видом, но про себя думал: «Это не беда, самое главное, что не ушла плавка. Вот тогда был бы треск на весь завод».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА

Если бы у Селезнева спросили, достаточно ли у него опыта, чтобы стать сталеваром, он ответил бы категорическим «нет». Ему казалось, что для этого нужно еще порядком поработать первым подручным, еще присмотреться к печи...

Но Волжана перевели мастером в другую смену, и на его место Пугачев настоятельно рекомендовал Селезнева.

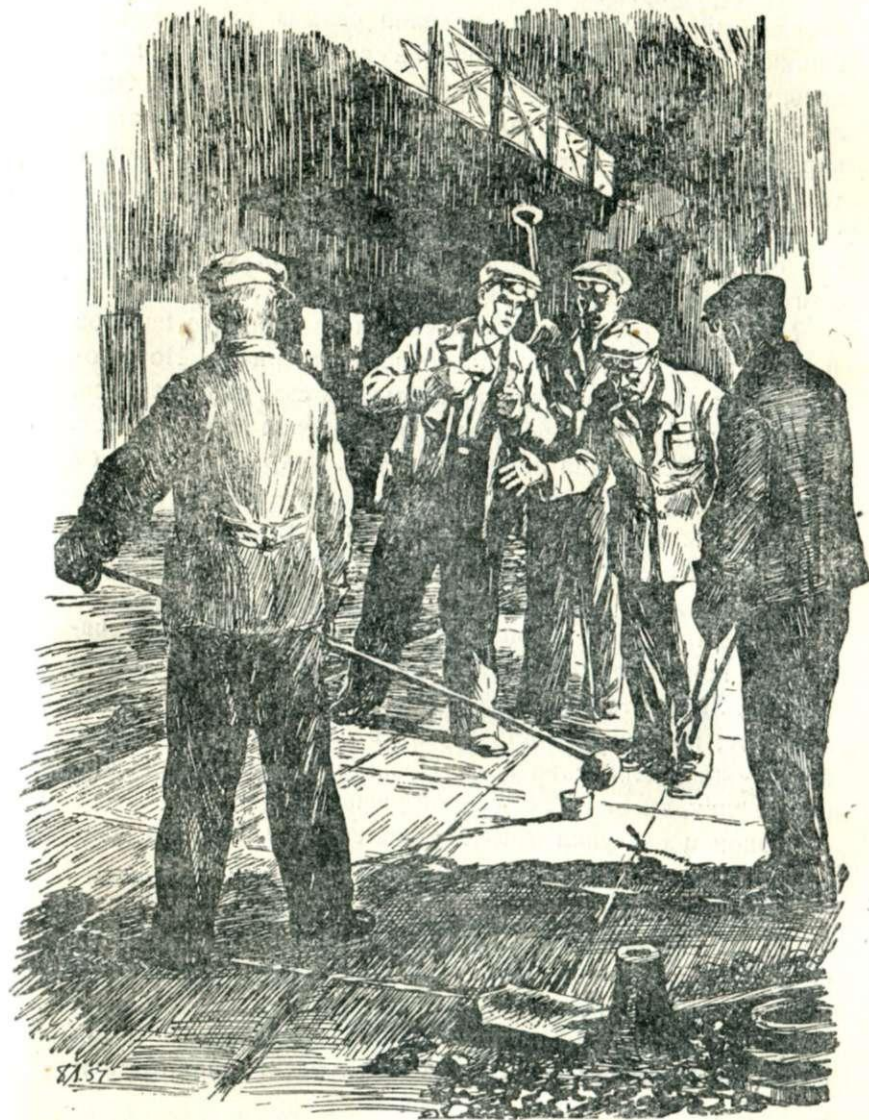
Петр с неохотой возвращался в старую бригаду, на четвертую печь. Как его примет первый подручный Метленко? Ведь по стажу работы у Метленко больше оснований для продвижения. Неудобно было и перед другими печевыми, которые учили его, когда он еще ничего не умел. И как он самостоятельно поведет печь? Легко, работая вторым подручным, стать первым — обязанности этих печевых не столь уж разнятся. А вот становясь сталеваром, человек делает резкий скачок.

Метленко встретил Селезнева без тени зависти, с распростертыми объятиями, словно старого друга, с которым не виделся много лет, и у Селезнева сразу потеплело на душе.

Сталевар ночной смены передал ему печь, пожелал успеха и ушел.

Сегодня Петр с радостью принял бы плавку в самом начале процесса, чтобы не выпускать ее в своей смене, но, как назло, завалка уже была сделана, шихта прогрета, и по графику нужно было выпустить плавку в конце смены, «на гудок».

К печи подвезли бункер с доломитом и заправили пороги завалочных окон, создав на них как бы искусственные плотины, удерживающие металл в печи. Петр внимательно следил за этой ответственной операцией, боясь, что, если порог заправят плохо, жидкий чугун проест его и металл хлынет на площадку.



Металл успокоился и затих, но с ложки сливался холодно.

Эту страшную картину он видел еще в Магнитке. Неудержимый поток металла заливал рельсы перед печью, ящики с заправочными материалами, инструмент, и казалось, что не будет ему конца, что зальет он весь цех. Около восьмидесяти тонн стали застыло толстым пузырчатым коржом, разделив цех на две части. Простояла не только та печь, на которой произошла авария. Стояли и другие печи — к ним нельзя было подавать вагонетки с шихтой. Когда стопятидесятитонным краном отдирали с площадки этого «козла», за ним потянулись и рельсы.

Много раз принимал Петр участие в заправке порогов и знал, сколько сыпать заправочного материала. Но сегодня, когда за печь отвечал полностью он сам, ему казалось, что мало доломита на порогах, и он требовал добавить еще.

Залили два ковша жидкого чугуна. Петр не отходил от заслонок, все время поглядывал на свод — боялся, как бы не поджечь. Пусть плавка затянется дольше обычного, лишь бы не повесить на своде сосулек, не опозориться в первый же день.

Но не только Петр опасался за свод. И Пугачев частенько подходил к печи, заглядывал в нее, в будку с приборами. Зная, что печь идет холодновато, он упорно добавлял газу; но стоило мастеру уйти с площадки, как Селезнев снижал количество газа. Прошло время, положенное по графику, а металл все еще не расплавился.

Наконец наступил момент расплавления. Металл успокоился и затих, но с ложки сливался холодно.

Пугачев буркнул:

— Не расплавилась, а раскисла. Грей, пока не нагреешь. Руду давать нельзя, — и с деланным безразличием ушел на другую печь.

— Добавляй, добавляй газку! Не бойсь! — шепотом, чтобы не слышали другие подручные, подсказывал Метленко. — Я тоже за сводом посмотрю.

«Вот так сталевар! — негодовал на себя Петр. — И не поймешь, кто печь ведет».

Никогда еще время не шло так медленно. Минутная стрелка на часах прыгнула от деления к делению двадцать два раза, пока Селезневу удалось нагреть металл.

Пугачев приказал давать руду.

Машинист завалочной машины ввел в печь мульду с рудой. Притихший было металл весело забурился в печи.

Содержание углерода в ванне стало быстро снижаться, началась доводка плавки.

Доводка, или полировка, как называют на некоторых заводах период от расплавления металла до выпуска, требует большого искусства от сталевара и от мастера. Нужно уметь сообразовать скорость выгорания углерода с нагревом металла. Дашь мало руды — металл нагреется, а углерод «не уйдет»; дашь много — еще хуже: углерод выгорит, а металл не успеет нагреться. Плавка замкнет, потребует доливки чугуна.

Пугачев давал руду осторожно, малыми порциями, опасаясь, что сталевар не сумеет нагреть металл, и потерял еще полчаса.

Прогудел гудок, а плавка все еще оставалась в печи.

Идя на работу, где-то в глубине души Петр надеялся, что хорошо проведет первую плавку, что этот день будет радостным и торжественным, и теперь он бичевал себя. Задержал плавку, недодал шестнадцать тонн стали, залез в карман товарищам, заводу, государству. Нет, рано поставили его на самостоятельную работу...

На рапорт Петр шел понурый.

Начальник цеха был недоволен — очевидно, ожидал большего от сталевара, а тот не оправдал его надежд.

— Почему потеряли час на четвертой печи? — сурово спросил он мастера.

— Газ сегодня какой-то малокалорийный, — слукавил Метленко, пытаясь свалить вину на коксохимзавод и выгородить сталевара.

— Не то и не тебя спрашивают! — отрезал начальник цеха и снова взглянул на Пугачева.

— С рудой просчитался, дал маловато, — пряча глаза, ответил Пугачев, принимая всю вину на себя.

Но начальника цеха было не так легко провести. Он был не из тех инженеров, которые попадают в институт прямо из школы, а из института — на руководящую должность. Он прошел все ступеньки производственной лестницы, все знал и все умел. Будь он плохого мнения о Петре, он не сказал бы ему ни слова, чтобы не опустились у того сразу руки, но он знал, что парень наделен здоровым самолюбием, и поэтому не побоялся его поддеть.

— В нашем деле, — сказал Резенков, в упор глядя на Петра, — один талантом берет, другой — упорством. Не могу со всех таланта требовать — от боженки он, как моя бабка когда-то говорила. Вот на упорство, Селезнев, и рассчитывай!..

Сложные чувства обуревали Петра, когда он возвращался домой. Его до глубины души тронули заботливость Метленко и поведение мастера. Не так легко было этому знающему себе цену мартеновцу брать вину на себя. А Резенков его задел, задел больно. Назови он Петра дураком, тот только бы улыбнулся про себя. Но упрек в бесталанности показался ему обоснованным.

Петр шел и думал: «Нет, неправильно набирают у нас в технические заведения. Вот почему-то когда в музыкальную школу принимают — слух испытывают, в театральном училище проверяют актерские способности, а в технические училища всех без разбору берут, абы экзамены сдал. А может, у человека к металлургии никакого призвания нет? Вот как у меня, например. Любовь есть, а призвания нет. Но как определить, есть оно или нет? Выход, кажется, один — брать на учебу людей с производства. Зарекомендовал себя человек на заводе — тогда его можно принимать в институт. Промаха не будет».

— Бесталанный, — повторил вслух Петр и прислушался: показалось, кто-то со стороны сказал это горькое слово. Но тут же решительно махнул рукой: «Педагогический

прием, как у учителя, который любил подковырнуть: «Эх, не выйдет из тебя партизана», или как у бригадира: «Не получится из тебя слесарь». А получились и партизан и слесарь. Получится и сталевар».

ОПЫТ — ЭТО ВРЕМЯ

Если бы Петр задался целью поставить завтра заводской рекорд, выпустить скоростную плавку, он наверняка поджег бы весь свод от края до края, повешал бы сосулек до самого шлака, и не миновать тогда ему перевода в подручные, что случилось не с одним. Но он изо дня в день ставил перед собой близкие, достижимые задачи: вчера задержал плавку на час, сегодня сократить задержку до сорока минут, завтра — до получаса. Но довести длительность плавки до нормального, одиннадцатичасового графика ему долго не удавалось.

За срыв графика Резенков обычно устраивал сталеварам жестокие нагоняи, но, видя, что Селезнев старается изо всех сил, упорно снижает длительность плавок, молчал.

У начальника цеха был сложный характер. Он не выносил лени, халатности, мог накричать, распушить за мелочное упущение, если оно было вызвано нерадением, и легко прощал человеку крупные ошибки, причиной которых были неопытность или смелый производственный риск. Он считал лень трудноисправимым пороком и часто говаривал, что легче трудолюбивого зайца научить бить в барабан, чем ленивого осла — тащить тележку.

Отношение подчиненных к нему тоже было сложным: лодыри перед ним трепетали, работяги любили за справедливость, за глубокое знание своего дела, уважали за то, что хотя сам он наказывать наказывал, но через свою голову никому не давал вмешиваться в судьбы людей цеха. И всегда был верен своему слову. Пообещал выхлопотать квартиру — выхлопочет, пообещал дать премию — премирует.

«Рабочий класс можно только один раз обмануть, — внушал Резенков своим помощникам. — Второй раз уже не удастся — не поверят».

В заводууправлении Резенкова побаивались. Стоило не обеспечить цех нужными материалами — неприятностей не оберешься. Не только на рапорте поднимал он шум, но и на заводском собрании не оставлял в покое «обидчиков цеха».

Резенков был опытным человеком, прошедшим большую житейскую школу. Многих людей повидал он на своем веку и свое отношение к ним определял не торопясь, не на основе первого впечатления, которое часто бывает обманчивым и противоречивым.

Еще в молодости отбывая практику, Резенков был свидетелем одного любопытного и поучительного эпизода.

Приняли на работу мастера, пожилого человека с солидной лысиной, из обрусевших немцев. Рабочие до революции недолюбливали мастеров со стороны — они часто закрывали дорогу выросшим на заводе сталеварам. К таким чужакам относились настороженно, и они в ответ платили придиричливостью, грубостью. Поэтому всегда старались скovyрнуть пришельца в первые же дни, не дать ему осесть, укрепиться, завоевать авторитет у цехового начальства и для этого шли на все.

Немца разыграли по всем правилам. Налили пробу в стаканчик, отковали ее в кузнице. Посмотрел мастер на излом металла, удовлетворенно крякнул. Принесли вторую пробу — мастер ошалело выпучил глаза. У предыдущей пробы зерно было крупное (чем меньше углерода, тем крупнее зерно), а у этой мелкое, словно пошел процесс назад и в металле увеличилось содержание углерода. Мастер приказал отковать третью пробу. Снова зерно крупное, все как будто в порядке, а новая проба сбита его окончательно с толку — зерно опять мелкое, еще мельче, чем в предыдущей. И невдомек ему, что носят подручные пробу то свежую, то старую, еще от позавчерашней плавки. Мастер

растерялся. «Сбили с панталыку!» — обрадовался первый подручный и, когда мастер попросил слить пробу, чтобы определить температуру металла по тому, как прилипает сталь к чугунной плите, слукавил. Прогрел ложку подольше, зачерпнул сталь под самым шлаком, где она всегда горячее, поднял ложку повыше, чтобы струя металла сильнее размывала чугунную плиту, и слил быстро-быстро. Корж стали почти мгновенно почернел в месте слива — значит, проба прочно приварилась к плите. Уверенный в том, что металл нагрет достаточно, мастер приказал пускать плавку, но, когда сталь пошла из печи красновато-мутной струей, не выбрасывая ни гребешков пламени, ни звездопада искр, мастер отвернулся и стал смотреть в сторону, будто дальнейшее его нисколько не интересовало.

Плавка сошла. На разливочном пролете скомандовали начинать разливку, но застывший на дне металл даже не показался из ковша.

Поднялся переполох, стали принимать разные меры, чтобы спасти плавку. Вот тогда только немец словно очнулся, взглянул вниз. «Давай на яма!» — решительно скомандовал он и показал рукой в ту часть цеха, где находилась яма, куда сливали через край ковша холодные, не пригодные к разливке плавки.

Коршуном налетел на мастера молодой инженер, помощник заведующего цехом:

«Вон отсюда, шаромыжник! Тебе дерьмо на бочке воить, а не плавки варить!»

Мастер, вежливо, но холодно поклонившись, пошел из цеха и ушел бы совсем, но его остановил заведующий цехом. Он извинился за горячность своего заместителя и попросил немца завтра выйти на работу в ночную смену.

«Вы неправы. Не распознали настоящего мастера, — урезонивал он заместителя, когда немец ушел. — Неопытный вертелся бы еще час вокруг ковша в надежде разлить металл, а этот, заметьте, взглянул на струю и отвернулся — сразу понял, что налетел. И на разливку не пошел, и

команду подал решительно: «Давай на яму!» А интонация какова? Не первый раз ему эту команду подавать приходится. За битого двух небитых дают».

«И то не берут», — сквозь улыбку отозвался заместитель, убежденный доводами начальника.

Впоследствии немец показал себя с лучшей стороны. В нем удачно сочеталась немецкая аккуратность с чисто русской смелостью. Он долго еще работал в цехе, сжился с людьми, но за кружкой пива любил вспоминать, как «подковали» его на первой плавке.

В памяти Резенкова отложилась и другая история. Когда он был еще сменным инженером, в его бригаде работали два сталевара, совершенно противоположные по ухватке, по манере поведения и по методам работы.

Лопухов, крупный, хорошо сложенный, голубоглазый и светловолосый юноша, чем-то похожий на Есенина, был общим любимцем в цехе. Держался он смело, красиво работал, умел сказать острое слово и в беседе и на собрании. А Бирюков, маленький, незаметный, с самой серенькой внешностью и тихим, словно приглушенным голосом, был мишенью для насмешек — правда, не злых, а дружеских, потому что отличался он на редкость миролюбивым характером. Называли его все снисходительно-ласково — не иначе, как Бирючок.

И кто бы ни приехал — корреспонденты, наркоматское начальство, бригады по обмену опытом, — все невольно задерживались у печи Лопухова, беседовали с ним, любовались его непринужденной манерой работать и умением повелевать (именно повелевать, а не распоряжаться).

О Лопухове наперебой писали в газетах, его фотографии появлялись на их страницах все чаще и чаще. Он был сыном цеха, а Бирюков — пасынком.

Однажды, когда Лопухов поджег свод, начальник смены упрекнул сталевара в небрежности и поставил в пример Бирюкова, у которого поджогов не было. Лопухов выслушал и ответил со снисходительной усмешкой:

«Вы еще скажете, что Бирючок лучший сталевар цеха?»

Начальник несколько озадаченно посмотрел на самоуверенного сталевара и раздумчиво протянул:

«А это очень может быть...»

Заводское жюри, подводя итоги года, уже было готово присудить Лопухову звание лучшего сталевара — процент выполнения плана у него был на 0,35 выше, чем у Бирюкова, и значительно выше, чем у остальных сталеваров, — когда поднялся начальник смены и положил на стол испи- санный колонками цифр лист бумаги.

«У Бирюкова лучшие показатели, — категорически заявил он. — Взгляните. Поджогов у него почти нет, уход металла в порог нет, а у Лопухова — три. Металл, выплавленный Бирюковым, — отменного качества, хорошо катается. Кроме того, он и о других сталеварах думает: смену, как положено, сдает, а после Лопухова часто начинаются всякие приключения...» — Начальник смены стал перечислять все отклонения от технологии, которые произошли в других сменах по вине Лопухова.

Ошеломленные члены жюри отложили свое решение до проверки представленных данных и, когда убедились в их правильности, присудили звание лучшего сталевара Бирюкову.

Взбешенный Лопухов подал заявление об уходе, и Резенков, не раздумывая, подписал его, сказав на прощанье:

«Рассчитываешь на то, что, пока в другом месте разберутся в тебе, успеют привыкнуть?»

За долгие годы работы видел Резенков и взлеты и падения людей. Особенно часто случалось это с искусственно выращиваемыми передовиками. Создают сталевару исключительные условия — шихту дают лучшую, да еще вне очереди, топливом снабжают в ущерб остальным печам, плавки выпускают без задержек, — и понеслась слава о нем. Ходит человек — земли под собой не чувствует, на товарищей, которые поступались для него и шихтой, и топливом, и очередностью, свысока смотрит. А поставят по-

том в одинаковые условия со всеми — смотришь, и не стало героя, ничуть не лучше он других, а иногда даже хуже.

Видел Резенков таких передовиков и сам их иногда делал: нужно же было установить максимальную производительность печи, чтобы на ее примере требовать от заводоуправления такого же обеспечения других печей, нужно было опрокинуть заниженные нормы, ошибочные расчеты во имя общего дела, для наглядного установления достижимых высот. И к тем, кто это понимал, кто и во время взлета оставался таким, как и был, простым и скромным, Резенков проникался уважением и питал почти отеческую нежность.

И вот эта черта характера — неизменная скромность — нравилась Резенкову в Селезневе, может быть, больше, чем все остальное.

Молодой сталевар быстро догнал кадровых рабочих. Плавки у него шли по графику, случались и скоростные. И ни разу не заметил у него начальник цеха проявления самодовольства. Селезнев прекрасно понимал, что только неусыпный контроль мастера и постоянная поддержка Метленко помогли ему так быстро пройти сложный этап освоения печи и плавки.

...Теория и практика начали понемногу сливаться в единое целое. И если первые дни Петр шел на работу с тревогой, а уходил с досадой, то теперь уже приходил уверенный в себе и уходил радостно приподнятый. Восемь часов напряжения, восемь часов в непрерывном движении, нос и кожа на лбу покрывались исчезающими красными пятнами от постоянных ожогов при наблюдении за сводом, а усталости до конца смены он не испытывал. Только дома, когда проходил нервный подъем, он ощущал тяжесть во всем теле и боль в глазах. Его трудно было вытянуть на улицу, в гости, в кино, но Лора не сердилась. Знала, что таков удел жен металлургов. Ее отец целые дни проводил на заводе, а иногда не возвращался и ночью. Были случаи, когда его по трое суток не видели дома.



У обер-мастера, конечно, более ответственная работа, чем у сменного персонала. Подручные, сталевары, мастера, отработав восемь часов, уходят домой и, если смена сдана в порядке, могут до следующего дня забыть о цехе. Обер-мастер является хозяином печей и отвечает за их состояние круглосуточно. А мартеновская печь — это огромный, умный и сложный агрегат. На десятиметровую глубину уходят под землю насадочные камеры — регенераторы, в которых производится нагрев газа и воздуха, поступающих в печь; на стометровую высоту поднимаются трубы. Высоко над землей, на уровне рабочей площадки, находится плазильное пространство — железный каркас, выложенный

огнеупорным кирпичом и прикрытый сверху аркообразным потолком — сводом. Кирпич свода ничем не защищен, а под печи, имеющий форму ванны, изолирован от действия металла и шлака толстым слоем спекшегося огнеупорного порошка — подиной. Вот наварка подины, наблюдение и уход за ней и являются предметом постоянных забот обер-мастера. Если в каком-нибудь месте наварку сорвет и в образовавшейся яме скопится металл, — смотри в оба: недалеко и до беды. С каждой плавкой яма углубляется, и, стоит не удалить из нее металл, не заварить ее, плавка неминуемо уйдет в подину. Эта серьезная авария всегда вызывает длительный простой печи.

И состояние насадок — предмет неусыпного внимания обер-мастера. Насадки — это легкие печи. Стоит им засориться, оплавиться или обрушиться — и печь начинает задыхаться: плохо принимает газ и воздух, идет холодно. А выпускное отверстие? Обер-мастер о нем тоже не забывает. Если оно большое и короткое, металл может уйти из печи, прежде чем его сварит сталевар и подадут ковш под желоб.

Обер-мастеру есть над чем поработать, есть над чем подумать, а то и повздыхать в бессонную ночь, когда он рискнет сделать завалку на яму. А рисковать приходится. Иногда судьба месячного плана зависит от одной плавки. В таком случае и останавливать печь на ремонт пода нельзя, и работать с ямой опасно. Вот и не спит мастер ночь напролет, прислушивается к шагам на лестнице — не за ним ли послали из цеха, не прорвало ли подину.

Все это знала Лора, когда выходила замуж за мартеновца, знала, как тяжело дается освоение этой профессии, и мирилась с тем, что после смены Петра трудно было вытащить на люди, что всяким развлечениям он предпочитал сон. Лора терпеливо ждала той поры, когда Петр втянется в работу, когда закалятся у него нервы. Тогда появится досуг для себя, для нее, для семьи. И не ошиблась. С каждым днем муж приходил из цеха все менее уставшим, все

более веселым и оживленным. Лора ревниво следила за доской показателей, на которой ежедневно отмечались места, занимаемые сталеварами в цехе. Начал Петр с тридцатого, почти самого последнего места, к концу недели передвинулся на восемнадцатое, а в июне...

С первых дней июня четвертая комсомольско-молодежная печь, на которой работали Шаталов, Ивко и Селезнев, стала выходить на первое место.

Резенков удивлялся прыти молодого сталевара и умению вести печь горячо, не поджигая свода. Иногда, проходя по рабочей площадке, начальник цеха круто сворачивал к четвертой печи и внимательно исследовал свод. Среди сталеваров цеха были «специалисты», которые умели поджечь свод, навесить сосулек, а к концу смены согнать их еще более сильным поджогом. «Может, и Селезнев так научился? — раздумывал Резенков. — Нет, он не мог успеть познать этого вредного способа. А что, если Пугачев ему в этом помогает?» И Резенков подозрительно следил за мастером, хотя ни разу не уличал его в каком-нибудь нечистом деле.

Селезнев научился держать свод на пределе допустимой температуры — как говорится, ходить по лезвию бритвы. Едва он замечал, что свод вот-вот «заплачет», тотчас мчался к приборам и кантовал газ — изменял направление газового потока в печи.

Теперь он довольно прилично пропорционировал газ и воздух, поступающие в печь, не допускал избытка воздуха, когда факел пламени становится коротким и острым, как у автогенной горелки, а печь стынет, потому что через нее проходит ненужный инертный азот, не допускал и избытка газа, когда он догорает в насадках или даже в трубе. В этом помогали приборы.

Множество их на мартеновской печи. Каждую минуту можно видеть расход воздуха и газов — коксовального и доменного, анализ отходящих продуктов горения, давление газа, температуру насадок, силу тяги трубы. Вот толь-

ко температуру свода и металла нужно было определять на глаз.

Не умел Петр вначале разбираться и в шлаке — когда он жидок, когда густ, а Пугачев постоянно ворчал: «Петро, следи за шлаком», «Петро, без хорошего шлака хорошей стали не сварить», «Петро, учись понимать, когда что шлаку дать надо».

Еще в техникуме Петро слышал ходкую немецкую поговорку: «Мы варим в печи шлак, а сталь нам бог дает», еще в техникуме узнал он о роли шлака в технологии выплавки стали. Покрывая металл, шлак защищает его от чрезмерного окисления — угара, проводит в металл кислород, необходимый для окисления углерода, помогает удалению из стали вреднейших примесей — серы и фосфора, передает тепло металлу. Но это были теоретические знания, а понимать состояние шлака его научил Метленко.

— Видишь, бульбухи шлака подпрыгивают вверх, тянутся за пузырьком газа? Значит, густоват, дадим боксита для разжижения, — подсказывал он всегда шепотом, чтобы не уронить авторитет сталевара в глазах подручных.

Или обращал внимание Петра на то, как шлак пенится в ложке, и советовал дать извести.

Такие подсказки Селезнев с благодарностью схватывал на ходу.

— А вообще процесс металлургический несовершенный, даже, я бы сказал, глупый, — однажды заявил Петр, когда они с Метленко возвращались домой.

— Почему же это глупый? — обиделся за свое любимое дело Метленко.

— Ну, подумай, что получается. В домну даем руду — окисленное железо, там восстанавливаем его — отнимаем кислород. Это правильно, но при этом железо насыщается углеродом и серой за счет кокса, марганцем и фосфором, и получается чугун. А в мартеновской печи начинаем выжигать из чугуна и углерод, и марганец, и фосфор, удаляем серу. Так?

— Так, — неохотно согласился Метленко. — Ведь, по сути, сталь отличается от чугуна только тем, что в ней примесей меньше. Если в чугуне углерода четыре процента, то в стали его сотые доли.

— Ну, а дальше что? — запальчиво продолжал Петр. — Мы разливаем сталь в крупные изложницы, где она и остывает. А в прокате эти двенадцатитонные слитки снова нагревают и превращают в мелкую заготовку. Несовершенно! Глупо!

— Так что ты предлагаешь? — улыбнулся Метленко.

— Я? Предлагаю? Тут дай сил дело освоить как оно есть, а новшества пусть вносят другие, поумнее нас с тобой.

И Петр с увлечением рассказал приятелю о поисках ученых — о бездоменном процессе, при котором прямо из руды будут получать чистое губчатое железо, о бесслитковой прокатке, когда сталь будут лить из ковша прямо на валки особого прокатного стана и получать без всяких изложниц нужные куски стали.

И еще любил Петр помечтать вслух о кислороде. Вот бы впустить в расплавленный металл струю кислорода! Какая была бы экономия времени! Шлак передает металлу кислород медленно, а тут прямое окисление.

На эту тему Петр перечитал немало статей в журналах и, когда в техникуме готовил свой дипломный проект, изучил вопрос досконально.

Не у всех мартеновцев новая идея укладывалась в мозгах. Некоторые говорили и так: «Что такое кислород? Это тот же воздух, а воздуха у нас достаточно. Вот газу бы больше в печь подавать, чтобы горячее она шла».

Петр не спорил. Выскажет свою точку зрения, возразит раз, другой — и замолчит: пусть, мол, думают как хотят.

Но сам он глубоко верил в эту идею, впервые зародившуюся в Советском Союзе.

АВАРИЯ

У мастера Пугачева была привычка завтракать в цехе у печей. В свободную минуту доставал он краюху хлеба, резал сало, нанизывал его на очищенный от коры прутик метлы и подносил к гляделке окна. Чтобы капли поджариваемого сала не пропадали, подставлял под него хлеб. Заметили, что Пугачев завтракает не на всякой печи, а лишь на той, к сталевару которой особенно благоволил. Но стоит рассердиться ему на сталевара — ходит есть на другую печь до тех пор, пока не сменит гнев на милость.

Теперь чаще всего Пугачев завтракал у печи Селезнева. И никто не мог упрекнуть старика в том, что опекает он Селезнева больше, чем остальных сталеваров. Петр был моложе всех, и за ним требовался особый досмотр. К тому же этот подвижной, энергичный, целеустремленный сталевар нравился старику. И еще одно обстоятельство приковывало мастера к четвертой печи: Петр Селезнев был им рекомендован, был его выучеником, и не хотелось ударить лицом в грязь со своим выдвиженцем.

И вот случилось то, чего никто не ожидал: почти каждую смену у Селезнева пошли скоростные плавки.

Четвертого июля 1951 года газета «Днепровский металлург» сообщила читателям, что сталевар Петр Антонович Селезнев явился победителем в соревновании — он выполнил план на 125,5 процента.

Путь от худшего подручного до лучшего сталевара был пройден за десять месяцев.

Резенков искренне радовался успеху Селезнева и не упускал случая поиграть на самолюбии старых, опытных работников:

— Вот видите, без года неделю работает, а всех обскакал! Ну, скажите по совести: неужели вам не стыдно? Да случись со мной такое, я бы в ковш прыгнул! А еще некоторые шипели: молодо-зелено, рано ставите, себя осрамит, цех осрамит, печь загонит.

Но вскоре Резенков понял, что «шипуну» были не так уж неправы.

И не зазнайство подвело Петра, а тот избыток уверенности в себе, который приходит с успехом и приносит много бед: снижается осторожность, появляется небрежность.

Пришел Петр на смену, принял печь и повел ее горячо, как научился за последнее время. Но в конце плавления он занялся операцией, которая отвлекла внимание от свода, — стал удалять из газового пролета упавшие кирпичи и не заметил, как перегрел свод. Вспомнил он о нем, только когда страшный язык пламени взметнулся выше подкрановых балок. Заглянув в окно, увидел вместо свода черноту огромнейшего отверстия. Около трех тысяч штук кирпича рухнуло в расплавленный металл.

— Закрывай газ! — что было сил крикнул с соседней печи Пугачев.

Но Петр не двинулся с места, раздавленный тяжестью происшедшего. Сто восемьдесят тонн металла стыли в печи, превращаясь в сплошной монолит — «козел».

Ноги у Петра не двигались, а если бы обрели способность передвигаться, то побежал бы он из цеха, с завода, из Запорожья, чтобы никогда больше не встречаться с людьми, ставшими свидетелями его позора. Остановить печь на трое суток, смотреть, как делают новый свод, разогревать печь после ремонта, плавить застывший металл — это ли не позор для сталевара! Если бы это случилось в конце кампании печи, на трехсотой плавке — тогда полбеда, но свод простоял всего сто двадцать пять плавков.

Чьи-то руки закрыли газ, подняли все пять крышек. Нутро печи порозовело, потом сделалось багрово-красным, стало чернеть.

На рабочей площадке собралось множество людей: и тех, кто был нужен, и тех, которых толкало простое любопытство.

Опомнился Петр, только когда увидел Резенкова, в бешенстве грозившего ему кулаком. «Доработался», — отчет-

ливо мелькнуло в сознании, и, взяв себя в руки, Петр побрел к будке с приборами, чтобы не торчать на виду у всех.

Когда прогудел гудок, извещавший о конце смены, Петр отправился в рапортную. Шел он туда, как на казнь. Вспомнилась страшная картина, когда партизаны расстреливали партизана за дезертирство. В глазах приговоренного он прочитал тогда больше стыда, чем страха.

И сейчас, идя на рапорт, он не испытывал страха, не думал о том, переведут ли его в подручные, пошлют ли убирать мусор или просто выгонят с завода, а физически ощущал нестерпимо жгучий стыд. Ведь еще вчера, выпустив скоростную плавку, шел он в рапортную в приподнятом настроении, ожидая очередной похвалы. Всего неделю назад начальник цеха всенародно сказал:

«Знаешь, Селезнев, я был неправ, когда считал, что тебя спасет только упорство. Кое-какой талантишко у тебя есть, только смотри, чтобы голова не закружилась! Не зарвись».

А сегодня эти самые люди будут слышать оскорбительные слова в его адрес, и он не сможет ни возразить, ни возмутиться.

Рапортная была полна, многие сидели на полу, подложив под себя рукавицы. Петр старался не встречаться взглядом с товарищами — и сочувствие и усмешки были ему одинаково неприятны. «Скорее бы все это кончилось», — думал он. А Резенков, как на грех, не начинал рапорта — просматривал плавильные журналы — и, только сделав какие-то выборки, кивнул начальнику смены.

Выслушав отчет о работе, Резенков сделал ряд замечаний по печам, пробрал мастера разливки за грязь в литейном пролете и взглянул на Селезнева. Тот внутренне сжался.

— Установлено, что на четвертой печи свод был изрядно изношен, — спокойно доложил Резенков. — Проверены журналы. У Селезнева ни одного поджога, а у его сменщиков по нескольку. Накладывать взыскания ни на кого не

буду — сами себя наказали: в этом месяце ни премии, ни прогрессивки не заработают.

У Петра было развито чувство благодарности. Но давно никто не трогал его так за душу, как сегодня начальник цеха. «Ну, смотри, Петр, тянись изо всех сил, — наставительно сказал он самому себе, — чтобы не остаться в неплатном долгу».

На людей совестливых прощение вины действует подчас сильнее, чем наказание. Петр прекрасно понимал, что простили его как молодого, еще неполноценного сталевара, который хотя и выскочил на первое место, но не застрахован от ошибок. Теперь он уразумел, что сталевар, на которого можно положиться во всех случаях производственной жизни, создается годами, что чужие ошибки учат, но учат недостаточно — настоящий опыт приходит тогда, когда натворишь своих.

С новым сводом работать трудно. Пока он не ошлается изнутри, не сольется в монолит, он чрезвычайно чувствителен к высокой температуре, и незначительный поджог на гладкой поверхности, где виден каждый кирпич в отдельности, очень опасен.

Петр стал варить затяжные плавки, и на доске показателей его фамилия опять значилась где-то в самом конце, как в первые дни работы. Два других сталевара, которых Резенков основательно пробрал за сожженный свод и называл теперь не иначе как «жигунами», тоже старались не допустить поджога.

Над Петром подтрунивали, но он терпеливо сносил насмешки — был уверен, что в дальнейшем свое возьмет.

И действительно, в конце концов к нему пришло понимание металла, которое ближе к чувственному ощущению, чем к умозаключению. Раньше он смотрел и рассуждал: «Ага, крупный пузырь. Капли шлака, почти обрываясь, стремятся вверх — значит, шлак густой». Или: «Не весь металл слился с ложки, корочка его пристыла. Значит, металл холодный». А теперь он смотрел и, не рассуждая,

ощущал: густой шлак, горячий металл. Получилось так, как со стрельбой. Первое время он повторял про себя: «Мушка должна быть на одной линии с рамкой прицеливания. Перед нажимом на спуск надо затаить дыхание». А потом все стало получаться автоматически: вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. Выполнил правила и не вспомнил о них.

Раньше он смотрел и прикидывал: «А достаточно ли прогрет металл в печи?» Думал. А теперь с первого взгляда видел, можно или нельзя заливать чугун, и безошибочно определял момент, когда его надо заливать. Это было очень важно для успеха плавки.

Все реже подсказывал ему теперь Метленко, все чаще у его печи поджаривал на прутке сало мастер Пугачев, который после падения свода, в знак своего возмущения, выполнял эту хозяйственную операцию на пятой печи.

В августе Селезнев снова пошел в шеренге лучших. О нем заговорили в печати.

Лариса с гордостью показывала газеты отцу:

— Видишь, опять о твоём зяте!

Но Бесчастный не только не хвалил Петра, а, наоборот, поддевал его, любил подразнить «для подбодрения», как объяснял он.

— Да разве вы сталевары? Раньше таких белоручек за версту к мартену не подпустили бы. Знаешь, каких в цех брали? Рост — во, в плечах — во! — И Бесчастный руками обрисовывал контур фигуры человека раза в два больше, чем он сам.

— А вас, батя? — как-то спросил Петр.

— Меня за силушку приняли — двенадцать пудов поднимал. Сейчас вспомню — так самому страшно становится. Но и без магарыча не обошлось. Без этого вообще ничего не обходилось. Да, много силенки уходило, — вздохнул он. — Все своим горбом. Железо в мульды грузили руками, руду — лопатами. Погрузим, запоем: «Эх, да-вай разом!» — и гоним вагонетки к печам. В печь валили вруч-



ную. А к ней, проклятой, не подойдешь. Трубы низкие, тяга плохая, пламя из крышек на сажень бьет, и лезешь в этот огонь. Одежда горела, волосы тлели. Ресницы и брови начисто слизывало. А когда на ремонт подины останавливались — полцеха собирали народу. Опустят в яму железный крюк на трехдюймовой рукояти — «королем» он назывался, весил пудов двадцать, — закроют газ — и ждут, пока металл в яме застынет, а потом выворачивают всю эту махи-ну из печи. И двенадцать часов без передышки каждый день. Ни выходных, ни отпусков. Заболел — поправляйся на сухарях, если засушить сумел, да на воде. А уж смер-тей насмотрелся — так больше, чем ты в партизанах! Од-нажды после ремонта обер газ в печь пускал, а он не заго-релся, собрался в печи, да ка-ак ахнул — так по кирпичу весь верх и разнесло! Восемь человек наповал. А когда ковш

со сталью опрокинулся? За двадцать метров инженер стоял от этого места, так у него глаза от жару лопнули. Кто рядом был — все живьем сгорели. И никто за это не отвечал. Считалось, что так и надо.

Даже не верилось Петру, что все это правда, как не верилось, что первоклассный цех, в котором он теперь работал, лежал в развалинах и представлял собой после отхода гитлеровцев страшное месиво из кирпича, железных остовов печей и сваленных на землю мостовых кранов.

Глава шестая

СТУПЕНЬ ЗА СТУПЕНЬЮ

— Завтра выходи в первую смену мастером, — сказал Селезневу на ходу Резенков таким тоном, словно отдал какое-то пустяковое распоряжение.

Петр похолодел. Год он пробыв сталеваром, освоил наконец это дело, был уверен в себе, в своей слаженной бригаде, привык к старому, по-отечески заботливому Пугачеву. Работать стало легче еще и потому, что своды начали выкладывать из огнеупорного хромагнетитового кирпича. Теперь сталевар редко заглядывал на свод — опасность поджога сильно уменьшилась — и основное внимание мог уделять не своду, а металлу — технологии.

И вдруг опять начинай учиться сначала, да еще в чужой смене, где сталевары старше его и по возрасту, и по стажу работы. Как правило, такие сталевары молодых мастеров не жалуют — они уязвляют их самолюбие. Вот если б все такие, как Метленко! Но Метленко обладал на редкость покладистым характером. Он охотно признавал превосходство Петра над собой, так как в теории смыслил значительно меньше его, и этим отличался от многих: практики часто относятся свысока к людям с дипломом. Так повелось еще со старых времен, когда много знающие инженеры не могли самостоятельно выпустить плавку и целиком шли на поводу у практиков.

Петр на опыте знал, что спорить с Резенковым бесполезно, и обратился за помощью к тестю.

Услышав новость, Бесчастный помчался к начальнику цеха. Вернулся он злой и красный, словно побывал в печи.

— И слушать ничего не хочет, — глядя в сторону, пробурчал Бесчастный. — Я и по-хорошему просил, и кричал, убеждал, что это безрассудство, даже наговорил на тебя лишнее — будто ты ни черта в металле не кумекаешь. Ну и докричался до того, что он меня из кабинета, мягко говоря, попросил.

— Да, тут грохнутья недолго, — раздумчиво произнес Селезнев. — Не готов я. Могу такого учудить... И главное, хоть бы в своей смене!

— Я ему и это говорил, просил в твоей смене оставить. Так у секретаря партбюро свои соображения: в той бригаде коммунистов мало.

Петра недавно перевели в члены партии. Произошло это неожиданно просто. Рассказал Петр короткую свою биографию и удивил многих. Мало кто знал о его партизанских годах — не любил Петр ворошить тяжелые воспоминания, хотя каждый день, каждое событие, каждая смерть товарища навсегда запечатлелись в памяти. Был бы он тогда постарше, поопытнее, многое, может быть, прошло бы мимо, не оставило бы такого отпечатка в сознании. Но в его тогдашнем возрасте, когда впечатлительность особенно высока, все отлагалось в мозгу и в сердце, словно гравировалось на металле.

Если бы Петр оставался беспартийным, он легче согласился бы с новым назначением. Но на коммунисте всегда лежит двойная ответственность — он обязан подавать пример другим и не вправе делать ошибки, тем более что ошибки мастера тяжелые, весомые.

И Лора загрустила, когда Петр поделился с ней своими мыслями. Значит, опять будет приходиться домой задумчивый, неразговорчивый, недовольный собой. К тому же Лора знала, что мастера зарабатывают меньше сталеваров, и

семье будет трудно. Недавно Лора родила сына, оставила работу, и весь семейный бюджет состоял из зарплаты мужа. На эту зарплату не так просто жить, да еще надо обставить двухкомнатную квартиру, которую они недавно получили.

У мастера блока три печи, три сталевара, три бригады. Каждый человек наделен своим характером, имеет свои навыки. Да и у печей свои особенности, свои темпераменты. Все надо знать, все учитывать.

Сдерживая себя, стараясь ничем не выдать волнения, сковывавшего движения и речь, Петр вышел на работу в незнакомую бригаду.

На коротком собрании, которое носит название «сменно-встречного рапорта», начальник смены представил рабочим нового мастера:

— Знакомлю. Плавильный мастер второго блока Петр Антонович Селезнев.

Тридцать пар глаз уставились на Петра с удивлением, любопытством, недоверием.

Двадцатилетний мастер — не такая уж большая редкость на заводе, но все знали, что этот мастер не проработал и двух лет в мартене, и в таком быстром продвижении склонны были видеть что-то сомнительное.

Петр не сробел, выдержал этот обстрел взглядами, но про себя подумал: «Разве можно так делать, как делает Резенков? Бах! — и сразу выходи на работу. Дал бы хоть недельку приглядеться к печам, к людям...»

Вспомнился рассказ донского казака о том, как отец учил его плавать. Отъехал на лодке подальше от берега и бросил шестилетнего мальчишку в воду. Нахлебался малыш воды, набрался страху, несколько раз погружался с головой, а удалой папаша сидел и смотрел самодовольно, покуривая трубку. «Знал, что выплывешь. Щенят-то никто не учит плавать. Инстинкт!» — хвалился потом он своими педагогическими способностями.

«Вот и Резенков, наверно, думает: «Учись, браток, пла-

вать сразу на глубоком месте. Побарахтайся — и получится». А получится ли? И почему начальник поступает так? Уверен во мне или не хочет показать бригадам, которыми придется руководить, что мастер еще многого не умеет, что его еще нужно учить уму-разуму?»

Петр подошел прежде всего к четвертой печи, на которой работал сталеваром в другой смене. Сталевар Минченко, стоявший у приборов, был знаком ему.

— Давай, давай, Петро, закручивай! — снисходительно сказал Минченко, считавший, что только так и надо разговаривать с молодым мастером, иначе тот, чего доброго, возомнит себя большим начальником.

На этой печи только начинали завалку, делать мастеру было нечего, и Петр пошел на пятую печь.

— Здорово, Петро! — приветствовал его подручный.

— Не Петро, а Петр Антонович или товарищ Селезнев, — одернул своего подручного пожилой сталевар Федоренко. — Ты что, в армии не был? На работе, как в строю: под козырек и — «Слушаюсь, товарищ начальник». Был Петро, да весь вышел.

Петр не понял, всерьез это было сказано или с издевкой, но с легкой руки Федоренко стали его называть в смене не иначе как по имени и отчеству.

На шестой работал сталевар Косяков. Хорошая слава шла о нем в цехе, как о знатоке своего дела и человеке. Здесь заканчивали ремонт пода, готовили печь к завалке.

«Значит, ни одной плавки сегодня пускать не придется, — подумал Петр с облегчением. — Слово сама судьба покровительствует мне, дает оглядеться, узнать печи, поближе познакомиться с людьми».

Первую плавку пришлось вести Селезнегу только на следующий день. И опять удача — на своей, знакомой до мелочей четвертой печи.

Во время плавления Селезнев заставил Минченко спустить как можно больше шлака. Этим он сразу устранил возможность перехода фосфора из шлака в металл, потому

что из-за лишней тысячной доли процента фосфора сверх допустимого металл переводят в низший сорт либо в брак, а значит, на переплавку. К тому же с малым количеством шлака печи работать легче — под толстой шубой шлака металл хуже нагревается.

Когда плавка расплавилась с высоким содержанием углерода, вспыхнул спор. Минченко предлагал дать три мульты руды, чтобы снизить углерод до нижнего предела, а Селезнев ограничил его двумя.

Минченко замолчал, стал отпускать колючки в адрес мастера, но дальнейший ход плавки показал, что никто из спорящих прав не был. Руды пришлось дать, но всего пол-мульды.

Металл нагрелся на славу. Ложку не марал, разливался по плите с подвижностью воды, играл слепяще-белым светом. Содержание серы и фосфора было низкое.

Все как будто шло хорошо, но сердце у молодого мастера стучало неровно. Первая плавка, первый экзамен — и тяжело его не выдержать. Если он выпустит ее не по анализу, то и в себе уверенность потеряет, и, главное, люди будут относиться к нему с недоверием. А утраченный авторитет завоевывать нелегко.

— Давай разделявай! — скомандовал Селезнев первому подручному, и тот отправился за печь.

Теперь судьбу плавки решал и первый подручный. Хорошо кипит ванна, быстро выгорает углерод — каждые три минуты одна сотая процента, а в готовом металле его должно быть не меньше двадцати двух и не больше двадцати пяти сотых процента. Вот и попади в такую узкую вилку, определи момент выпуска! Надо учесть, сколько углерода внесет с собой ферромарганец, сколько углерода выгорит, когда металл будет сходить в ковш. Промешкай подручный с выпуском — углерод уйдет; а если выпустит по неосторожности плавку раньше, чем нужно, содержание углерода в готовом металле превысит норму. Нет, этот подручный подвести не должен. Селезнев знал его, как

знал и остальных на комсомольской печи. Но могла подвести предыдущая смена, если плохо закрыли отверстие. Тогда придется прожигать его кислородом, а это опять лишние минуты, которые решают судьбу металла.

«Время или не время пускать? — с отчаянием думал Селезнев, поглядывая на часы. — Ох, как хорошо было бы, если б подошел кто-нибудь постарше, поопытнее, с кем можно было посоветоваться! Обратиться к Бесчастному? Но его на аркане не притащишь к печи, чтобы не упрекнули в помощи зятю. И так злые языки болтают лишнее».

Показался Резенков, но, увидев, что плавка на выпуске, подчеркнуто прошел мимо.

Когда Петр понял, что помощи ждать неоткуда, он внутренне собрался, успокоился, как в засаде, когда приходило время нажать на спуск пулемета, и, выждав еще три минуты, крикнул:

— Пускай!

Подручные длинным ломом ударили несколько раз в отверстие, но металл не показался. Селезнев бросился им на помощь, и в этот момент металл с глухим рокотом вырвался в желоб и ринулся в ковш.

Взглянув на струю, которая сочетала в себе подвижность воды, тяжесть металла и стремительность огня, Селезнев успокоился. Ее цвет, гребешки пламени, скользившие по поверхности, убедили его, что металл нагрет хорошо. А искры, весело, как бенгальский огонь, рвавшиеся в воздухе, говорили о том, что углерода еще достаточно.

Когда ковш повезли к изложницам, Селезнев, быстро осмотрев печь, спустился в литейный пролет понаблюдать, как разливается первая выпущенная им плавка. Не ошибся ли он с марганцем? Бросали его в печь без веса, на глаз, и это тоже могло привести к ошибке.

Много феерических картин можно наблюдать в мартеновском цехе, но самая впечатляющая из них — это разливка кипящей стали. Весело бурлит сталь в изложнице, словно торопясь выбросить из себя растворенные газы,

снопом вылетают искры, рассыпаются в воздухе и, тускнея, бессильно падают вниз.

Разливка успокаивает и радует сердце сталевара. Эта последняя, заключительная операция в цехе подобна жатве, сбору урожая.

И все же полное успокоение наступает позже, когда из лаборатории приносят анализ стали.

На этот раз анализ безупречен. Углерода 0,23, марганца 0,44, серы 0,026, фосфора 0,029 процента.

Вторую плавку Селезнев пускал на шестой печи, пускал с меньшим напряжением, потому что она была вторая и потому что сталевар Косяков оказался знатоком своего дела. Он с необычайной сноровкой вел плавку, и мастеру незачем было его поправлять, нечего было подсказывать, не к чему было придрататься.

Селезнев даже испытывал неловкость: почему он мастер, а не Косяков? Неловкость эта прошла много позже, когда он узнал, что Косяков отказался от должности мастера.

«Хорошо, когда есть хоть один такой сталевар на блоке, — размышлял Селезнев, следя за работой Косякова. — Он все сделает сам, подведет плавку к выпуску. Мастеру остается только на последнюю пробу взглянуть да марганец бросить. Впрочем, и эту операцию Косяков может выполнить сам».

И Косяков проникся симпатией к молодому мастеру, повоенному подтянутому, немногословному. Селезнев предоставлял сталевару полную свободу действий, не лез с ненужными замечаниями, не хорохорился, чтобы показать свое превосходство, и не заискивал, как это частенько делали молодые, малоопытные мастера, стараясь таким приемом расположить к себе бригаду. Этот мастер работал и не думал о том, какое впечатление производит на людей, и, как понимал Косяков, старался завоевать себе авторитет не командирскими нотками или поблажками, а четкой и вдумчивой работой.

Селезнев ожидал, что на рапорте Резенков похвалит его — как-никак, первые плавки, обе скоростные, обе по анализу. Но Резенков не издал ни звука, и Селезнев понял, что это молчание и было высшей похвалой. Резенков как бы подчеркнул, что рассчитывал именно на это и что только так должно было быть...

Шли дни. Понемногу исчезали томительное беспокойство и взвинченность, возникавшие при выпуске плавок, все больше крепла уверенность в себе.

Но однажды случилось то, что должно было случиться. Опыта у Селезнева все же было недостаточно, и его не хватило, когда он принял сложную, необычную плавку.

Углерода в металле было мало, шлак жидкий, проба сливалась плохо. Селезнев растерялся. Но подошел Резенков, посмотрел на пробу и приказал пускать. Мастер высказал свои сомнения, но Резенков успокоил его: разольется. Однако, как только плавка пошла по желобу, Селезнев понял, что металл холодноват.

Плавку разлили плохо, пятнадцать тонн остывшего металла пришлось вылить в шлаковый ковш.

«Что же говорить на рапорте? — мучительно размышлял Селезнев. — Сослаться на распоряжение начальника? Неудобно и неправильно, потому что мастер не обязан выполнять команду, которую считает ошибочной. А выполнил — отвечай сам».

На рапорте Резенков ни словом не упрекнул плавленного мастера. Но когда Селезнев взял журнал, чтобы подписать паспорт плавки, что делает каждый мастер, начальник цеха грубо вырвал журнал и размашисто расписался вместо него. При этом он не сказал мастерам: «Смотрите, никогда не переключайте свою вину на подчиненных», но они поняли это и без слов. Понял и Селезнев, глубоко почувствовал и принял за одно из правил поведения.

Дома Селезнев наспех проглотил обед и помчался к Бесчастному — хотелось отвести душу. Но участия он не встретил. Тесть смотрел на вещи философски.

— Без холодной плавки мастера не бывает, — спокойно сказал он. — Первая она у тебя, но не последняя. А вот когда еще горячую выпустишь — тогда только хорошо поймешь, какая она нормальная. — И, как всегда, ударился в воспоминания: — Раньше знаешь как было? Выпустишь холодную, и если начальства нет, то и концы в воду. Недоливки — сразу на шихтовый двор да в печь, «козла» из ковша выташат и в яму закопают. Придет заведующий, пройдет по цеху — все чинно-гладко — и засядет у себя в конторе чаи распивать.

Петр любил эти экскурсии в прошлое, но сейчас думал о своем и слушал рассеянно. Бесчастный заметил это:

— Что, Петр, в такой день жалеешь, наверно, что пошел не по машинной части? С машинами куда спокойнее — сел в кабину и крути себе баранку. Сегодня и завтра одно и то же. А тут что ни день, то новости. Сколько я плавков на своем веку ни пускал, а не было двух похожих. Каждая идет по-своему, каждая от другой чем-то отличается, к каждой приноровиться нужно.

— Вот это мне и понравилось, батя! — горячо ответил Селезнев. — Тут от плавки к плавке растешь. Умей только замечать и для себя выводы делать.

И Селезнев рос. Работа ладилась. Он по-прежнему испытывал волнение при каждом выпуске, но теперь это было радостное волнение, душевный подъем, подобный вдохновению, с которым пишут стихи, творят музыку. И счастье этих минут было ни с чем не сравнимым счастьем.

Со знанием металла и печи пришло и знание людей.

На Косякова всегда и во всем можно было положиться. Более двадцати разных марок стали выплавлял мартеновский цех, и этот сталевар понимал, что нужно выпустить именно ту марку стали, которая задана, потому что ее, а не какую-либо другую ожидают прокатчики, именно ее ждут на автозаводах Москвы, Горького, Минска, именно она нужна заводам демократических стран. И он шел на все: мог задержать доводку плавки, очищая сталь от вред-

ных примесей, на час, два, потерять из-за этого в заработке, но обязательно выполнить заказ.

Федоренко — опытный сталевар, но у него главная цель: выпустить плавку как можно скорее, а какой она будет — это его интересовало меньше. Он был упрям, раздражителен, настойчив и считал себя непогрешимым. Если мастер действовал не по его совету, скандалил. Пришлось разубедить его в непогрешимости. Несколько раз мастер выполнял его требования, предупреждая, что путного из этого ничего не получится, сознательно шел на срыв заказа и добился своего: Федоренко успокоился.

За Минченко нужен был неусыпный досмотр. Работал он горячо, но не всегда знал, что нужно печи.

Незаметно пролетели десять месяцев с того дня, когда Селезнев самостоятельно стал выпускать плавки, и вот за показатели первого квартала 1953 года ему присвоено звание лучшего мастера сталеплавильных цехов Союза.

Лучший мастер Советского Союза! У Селезнева на какое-то мгновение поплыли перед глазами буквы поздравительной телеграммы из Москвы, на какой-то миг ему показалось, что это неправда, ошибка, сон. Сколько в стране мартенов, сколько мастеров, и вдруг он, его блок, его сталевары работали лучше всех!

Нет, это не сон. Новый начальник цеха, заменивший больного Резенкова, радостно поздравляет его, пожимает руку. Селезнев видит вокруг товарищей, ему протягивают руки, протягивают без зависти, потому что именно они учили его, помогали ему, сделали сталеваром и мастером.

Перед глазами Селезнева проходят лица людей, которые вложили в его судьбу свою посильную лепту словом, советом, поддержкой, примером: учитель Петр Иванов, Воронов, Парфимчик, Кирьянов, начальник санитарного поезда, милиционер, направивший его в ФЗО, бригадир слесарей, Метленко, Волжан, Пугачев, Резенков, коммунисты, принявшие его в ряды партии, той партии, которая преобразила Родину и руководила великой борьбой за ее свободу.

Где, в какой стране помогли бы одинокому, изможденному войной мальчишке подняться, крепко стать на ноги и идти все дальше и дальше, непрестанно опекая его, поддерживая, ободряя?

В эту минуту Селезневу хочется обнять всю страну, всех советских людей, упасть на землю и целовать ее за счастье быть на ней рожденным.

БОГ МЕТАЛЛУРГИИ — КИСЛОРОД

Жизнь не давала Селезневу возможности остановиться, почить на лаврах, даже если бы у него была к этому склонность. Он работал в творческом коллективе, который упорно и быстро двигался вперед, решая одну за другой производственные задачи. Когда Селезнев поступил в цех, плавки весом в сто восемьдесят пять тонн сидели в печах больше одиннадцати часов; теперь же вес плавков увеличился до ста девяноста трех тонн, а длительность снизилась на полтора часа. Двадцать тонн в час давали печи, одну тонну в три минуты. Скоростные плавки удавалось пускать и за восемь часов. В цехе таились резервы, и за вскрытие их шла непрестанная борьба.

Не только в стране, но и за ее пределами неслась слава о сталеварах десятой печи — Якименко, Степане Мартынове, Небылицыне, добившихся рекордной производительности.

Едва Селезнев достиг в своей работе высокой степени совершенства и той уверенности, которая дает истинное наслаждение своим трудом, как пришлось переучиваться заново. В цехе построили кислородную станцию и в печи подали кислород.

Начиналась новая эра в металлургии — кислородная. О кислороде как мощном ускорителе металлургических процессов давно знали и давно мечтали. Правда, находились и скептики, как всегда при рождении нового, прогрессивного. Одни говорили, что кислород ничего не даст, что это якобы тот же воздух, хотя любой школьник видел, как ярко вспыхи-

вает тлеющая лучинка, если ее помещают в наполненную кислородом банку; другие пророчили всякие ужасы, вплоть до взрывов. Но вот этап дискуссий преодолен. На московском заводе «Серп и молот» впервые доказали выгоду применения кислорода в промышленном масштабе, и конструкторы в результате долгих поисков создали установки, вырабатывающие в больших количествах дешевый кислород. Одну из первых таких установок получил завод «Запорожсталь», и смонтировали ее при мартеновском цехе.

Селезнев надолго запомнил первую плавку, сваренную на кислороде. У него был выходной день, но он не удержался от соблазна прийти в цех.

Опыта ни у кого не было. На заводе «Серп и молот» печи маленькие, работали там на твердом чугуне, и копировать его опыт было нельзя.

Когда Селезнев подошел к печи и взглянул в окно, он сразу понял, что с кислородом можно набраться бед. Газ, сгорая в воздухе, обогащенном кислородом, давал ослепительно яркое, белое даже сквозь синее стекло пламя. Печь шла так горячо, что и хромомagneзитовый свод при недосмотре мог оплавиться. Сталевар, как часовой, шагал у окон — от первого до пятого, от пятого до первого. Только что кончилась завалка, но шихта перегрелась, и шлак подбирался к порогам окон, которые не успели заправить.

«Что будет делать мастер? — пытался разгадать решение своего коллеги Селезнев. — Заливать чугун на перегретую шихту опасно — слишком бурно пойдут реакции, а остудить печь — значит «закозлить» шихту и потом неизвестно сколько ее плавить».

Мастер приказал заливать чугун.

Плавка взбесилась. Выходящие из металла газы подбрасывали шлак до свода, он пенился и вдруг огненной лавиной хлынул через все пороги на рабочую площадку. Поспешно закрыли кислород, газ, воздух, а шлак все лез и лез в окна, нагромождая гору у печи. Ни подойти, ни заглянуть в нее стало невозможно.

Когда металл успокоился, снова подали топливо и кислород в печь, но плавка уже не повиновалась сталевару. Шлак переокислился, стал жидкий; как никогда, быстро выгорал углерод. Снова закрыли кислород. Шлак загустел.

Настало время взять пробу. Но это оказалось невероятно трудным, когда под ногами бугор скользкого, залитого водой шлака. Трудно было и определить температуру металла при таком густом шлаке в печи — не поймешь, перегрета ли плавка или металл сливается горячо, потому что сильно ошлакована ложка.

Наконец плавку выпустили, но на этом беды не кончились. Металл оказался слишком горячим, пробка, закрывающая отверстие стакана в ковше, через которое производится разливка, отгорела, нельзя было перекрыть стакан во время переезда с вагонетки на вагонетку, и струя металла с силой была в сцепления, в изложницы, веером разлеталась по цеху, обдавая мириадам брызг разливщиков.

— Добрався до кислорода, як хохол до меду, — миролюбиво сказал Селезнев мастеру, растерянно следившему за аварийной разливкой.

Но и неудачная плавка окрылила мартеновцев. Она прошла быстро, и всем было ясно, что сталевары получили новое средство увеличения производительности печей, и весь вопрос сводился к тому, чтобы обуздать этот мощный интенсификатор, подчинить его человеческой воле, сделать повседневным, привычным средством.

Десятки исследователей наводнили цех, изучали работу печей на кислороде, устанавливали оптимальный расход его в разные периоды плавки. Но первые инструкции были несовершенны, и нет-нет, да и выпускал мастер такую горячую плавку, что в разливочном пролете не знали, куда ее девать.

Мартеновцы крепко уцепились за кислород. С каждым днем, с каждой неудачей накапливался опыт. Удачные плавки превосходили все ожидания. Их зачастую пускали за шесть часов, и теперь удавалось иногда на одной печи выпустить за смену две плавки.

Стали отставать тылы — не всегда успевали вовремя подавать шихту к печам, задерживали ковши, составы с изложницами, а это наиболее опасно. Перегретый металл «искал выхода», «просился», как говорят сталевары, и иногда вырывался на свободу через заднюю стену или пороги, проев их. Участились аварии.

Вот здесь и пришла на помощь инженерно-техническая мысль. Возникшие задачи оказались по плечу новым руководителям цеха — начальнику Лескову и его заместителю Мазову. У Лескова был большой опыт организационной и партийной работы, Мазов же вырос в первоклассном цехе Магнитогорского комбината, где начал свой путь металлурга с подручного сталевара.

Эти инженеры ввели строгий комплексный график работы всех отделений цеха, увеличили объем мульд и размеры завалочных окон, что позволило ускорить завалку печей; увеличили емкость ковшей и таким образом подняли вес плавки.

Не остались в стороне и ученые. Они преподнесли мартеновцам свой подарок — особо стойкий магнетитохромитовый кирпич, которому не были страшны самые высокие температуры.

Работа цеха вошла в нормальную колею, или, вернее говоря, пошла по новой, скоростной колее. Но ненадолго. Как только сталевары и мастера освоили плавки на обогащенном кислородом воздухе, начали испытывать другой метод — подавать кислород по трубкам прямо в ванну, в жидкий металл.

Вот тут и вспомнил Селезнев преподавателя спецдисциплины в техникуме с благодарностью. Тот не был практиком, но еще в сорок девятом году разглядел, что будущее принадлежит кислороду, и заставил своего ученика делать необычный для того времени проект — «Продувка кислородом ванны мартеновской печи». Теперь Селезнев теоретически был готов к новому процессу больше, чем кто либо из сталеваров.

Но это только теоретически. На практике все получалось

сложнее и не совсем так, как он проектировал в техникуме. И снова возникли трудности с перегревом металла, с попаданием в анализ по углероду, который при новом методе выгорал молниеносно.

Обычно, когда содержание углерода достигает десяти сотых процента, ванна перестает кипеть. В этом случае процесс доводки сильно затягивается. А подавая кислород прямо в металл, можно быстро выжечь углерод до двух — трех «соток» и выпустить сталь мягкую и пластичную, как медь. Такой металл хорошо штампуются, и из него легко делать изделия, требующие глубокой вытяжки, такие, например, как передние крылья легковых автомашин самой сложной конфигурации.

Кислород делал чудеса. Однажды в смене Селезнева вновь провалилась часть свода в плавку. Это грозило «закозлением» плавки, и мастер растерялся.

На помощь прибежал мастер другого блока. Он посоветовал дать кислород в ванну. И вот при закрытом газе, то есть без топлива, а только за счет теплоты от сгорания примесей стали, плавку удалось нагреть до требуемой температуры и выпустить в ковш.

За 1953 год цех увеличил производительность на тринадцать процентов. В 1954 году производительность возросла еще на четырнадцать процентов.

Этот год снова принес Селезневу огромную радость. Его хорошая работа была отмечена жюри Всесоюзного соревнования металлургов. Первенство на этот раз присудили магнитогорскому мастеру, но Селезнев не сокрушался: у магнитогорца было за плечами двадцать лет производственного стажа.

Глава седьмая

НА ВОСТОЧНЫХ ГИГАНТАХ

Поезд мчит Селезнева в Магнитогорск. Он едет в составе бригады по обмену межзаводским опытом. Уже проехали Карталы, ту самую станцию, которая была грозой для подро-

стков, бежавших из ФЗО. Сжимается сердце, как при возвращении в родные места, только сжимается иначе — радостно. Когда он подъезжал к Горькаво, оно сжималось от боли.

Селезнев побывал в своей деревне в 1946 году, когда ездил к матери в Витебск. Деревня строилась заново, а на месте отцовской хаты зеленел густо заросший лебедой пустьрь. Даже камней, на которых стояла клуня, с улицы видно не было, словно сама природа старалась стереть память о людях, которые когда-то здесь жили. Посидел Петр на родном пепелище, погрузил об отце и без всякого сожаления вспомнил свое детство. Может быть, к старости он и пожалует о далеком утре своей жизни, но он был молод, здоров и вполне доволен настоящим.

Никого из своих сверстников Петр не встретил. Одни погибли, другие остались на военной службе или разъехались. Но с односельчанами повидался. Повидался и с матерью Нины, рассказал ей о доблестной смерти Вани, о том, как хоронили его в лесу под ружейные залпы. И когда заплакала женщина, потерявшая двоих детей, Петр почувствовал себя вдруг мальчишкой и тоже всхлипнул.

...Вот и Магнитогорск. Знакомая станция, знакомые названия трамвайных остановок, дома, виданные-перевиданные, контуры рудной горы, изрядно изгрызенной экскаваторами за минувшие пять лет. Даже воздух с примесью рудной пыли и коксовального газа пахнет привычно, породному.

Пока товарищи ожидают номер в гостинице, Селезнев поднимается вверх по улице Пушкина, мимо разросшегося за это время парка к памятному месту у Дворца металлургов. Перед ним раскинулся завод. Он вырос за это время, и город уже перебрался на тот берег реки Урал и широко разбросал залитые солнцем, обсаженные деревьями кварталы больших, многоэтажных домов.

Селезнев оглядывается вокруг — может быть, дежурит тот самый милиционер, который направил его в ФЗО?



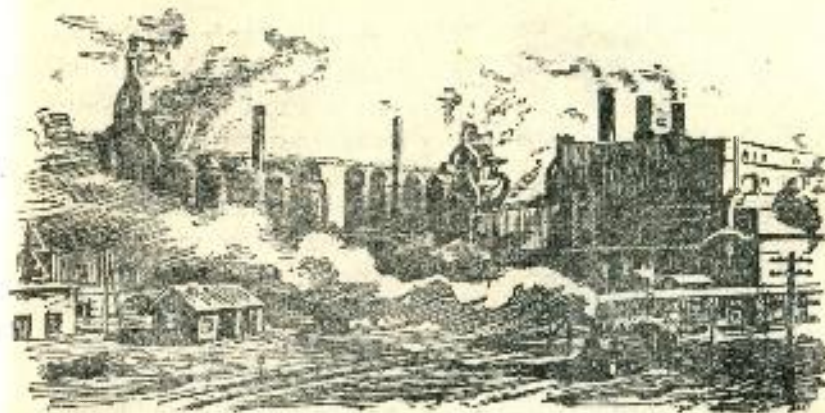
А впрочем, при чем тут милиционер? Не он, так другой посоветовал бы ему, куда приткнуться. Сколько людей тогда останавливали его, расспрашивали, давали советы, и любой из них можно было принять...

На другой день бригада осматривала завод. Каждый шел в тот цех, который его интересовал.

На этот раз далеко не все казалось Селезневу безупречным. На литейном пролете грязнее, чем в Запорожье; правда, и пролет тут уже; на рабочей площадке, тоже более узкой, чем в построенном позднее мартене «Запорожстали», много излишней суеты. Две печи — двадцать третья и двадцать четвертая, имеющие стометровые трубы, — не используют силу тяги, работают на низких тепловых нагрузках. О своих впечатлениях Селезнев рассказал в завкоме комбината, когда бригада закончила работу.

На восток от Челябинска Селезнев никогда еще не ездил, и он с любопытством рассматривал мелькавшие за окном лесные пейзажи.

В их купе нижнюю полку занимал смугловатый скуластый юноша с явно азиатским складом лица. Он шорец, родом из Горной Шории — одного из красивейших уголков страны, богатейшей кладовой природы.



О Шории Селезнев знал только то, что там добывается руда для Кузнецкого металлургического комбината да сосредоточена уйма всевозможных полезных ископаемых, и поэтому с любопытством расспрашивал Тимофея Усургашева, работавшего на рудообогатительной фабрике в поселке Шерегеш.

Тимофей кончил десятилетку, учился в заочном техникуме и о своем крае — о красоте гор и тайги, о тихих таежных озерах и бурливых, многоводных реках — рассказывал так поэтично, с таким неподдельным восхищением, словно соблазнял спутников наведаться к ним, полюбоваться прелестями, которых они нигде больше не увидят.

— Тайга у нас непроходимая во многих местах, — говорил он. — Зверей видимо-невидимо, птиц — тоже. Соловьев — как нигде. Особенно красива Нижняя Шория по реке Мрас-Су. В этих местах есть легендарная группа скал Туралыг. Это остроконечные утесы, вершины их всегда покрыты снегом. В скалах много ущелий и водопадов.

Тимофей хорошо знал историю своего маленького, почти вымершего до революции от голода и болезней народа. Когда русские появились в этих краях, шорцы находи-



лись еще на уровне родовых отношений, занимались охотой, мотыжным земледелием и кузнечным делом. За триста лет существования дома Романовых мало что изменилось в их образе жизни. Только советская власть по-настоящему открыла и преобразовала этот дикий, девственный край. Исчезли неудобные для жилья, тесные деревянные срубы, большую часть кото-

рых занимали очаги. Старые шорцы и сейчас еще могут показать памятки об этих очагах — следы ожогов на теле. Теперь шорцы живут в просторных домах.

— А знаете, откуда пошло название «Шерегеш»? — охотно разговорился Тимофей, польщенный вниманием попутчиков. — Жил в селе Адыяк-Камначи — по-русски это «Собачья река» — шорец Шерегешев. Во время охоты потерял он кремь. А в тайге без кремня ни закурить, ни костер разжечь. Ну, и поднялся он на холм, где заметил груды больших камней, — думал найти кремь. Только так и не нашел его, а на камни обратил внимание. Тяжелые — невозможно! Шерегешев понял, что это железная руда...

Селезнев недоверчиво посмотрел на юношу:

— Постой, постой! Сам говоришь — в недавнем прошлом почти дикари, а знали железную руду.

Тимофей горделиво улыбнулся:

— Да. Но эти дикари были первыми металлургами в крае... Знаете, откуда название «Кузнецк» пошло? Ведь Кузнецк старый-престарый город. Раньше здесь жили шорцы, копали руду, добывали из нее железо и медь и славились

кузнечным мастерством — делали в основном доспехи и оружие. Их так и называли раньше: «кузнечки татары» — мы ведь племя-то тюркское.

Селезнев почувствовал себя неловко. Он много слышал о первенце советской металлургии — Кузнецком заводе, а объяснения этого названия не знал.

— Так вот, о Шерегеше, — продолжал увлекшийся Тимофей. — В тридцать втором году пришла в нашу тайгу поисковая партия и прошел слух, что русские руду ищут. А Шерегешев был мужик передовой, первый сельсовет организовал. Услышал он про партию эту, взял ружье — и айда в тайгу! Повстречал русских и привел через кедрач на тот холм. Оглядел начальник партии камни, снял с себя кожаное пальто и отдал Шерегешеву. Потом еще премию выписал! Вот и назвали рудник Шерегеш. Если не верите мне, в музей зайдите. Там разве такое узнаете!

— Музей? В Кузнецке? — удивился Селезнев, полагая, что музей — это атрибут только большого города.

— Два-а! — важно протянул Тимофей. — Один — городской, а другой — заводской, в Доме техники.

И снова покраснел Селезнев под пытливым взглядом шорца: он даже не слышал о заводских музеях, не знал, что есть такие.

Поезд Москва — Сталинск приходит на конечную остановку утром.

Распрощавшись со словоохотливым Тимофеем, поехали на трамвае в город.

Мимо окон плыли многоэтажные дома культурного, обжитого, озелененного города, парк, Дом техники. Миновали мост через небольшую речушку и вышли у заводууправления.

Здесь же и вход в завод. Он необычен. Длинный туннель, примерно с километр, идет под заводом, соединяя город с верхней колонией. Из туннеля несколько ответвлений шоссе ведут к цехам.

В заводской гостинице, чистенькой и уютной, запорожцам

отвели два номера с ванными комнатами и предупредили: бюро пропусков сегодня закрыто, пропусков на завод они не получат.

Из окна гостиницы виден завод. После магнитогорского он не поражает размерами. Корпуса цехов такие же большие, как на Магнитке, но их значительно меньше.

Пообедали, и Селезнев потянул всех в город. Прежде всего решили посмотреть городской музей. Нашли его на главной улице, напротив разросшегося парка.

В небольшом помещении Селезнев сразу нашел то, что его заинтересовало, — табличку с выдержкой из наказа Кузнецкому воеводе Баскакову:

«А около Кузнецкого острогу на Кондоме и на Мрассе реке стоят горы каменные великие, и в тех горах емлют кузнецкие ясачные люди каменя, да то камене разжигают на дровах и разбивают молотами намелко, а разбив, сеют решето, а просеяв, сыплют понемногу в гори, и в том сливается железо, и в том железе делают пансыри, бехтерцы, шелома, колья, рогатины и сабли и всякое железное опричь пицалей, и те пансыри и бехтерцы продают коламацким людям на лошади и на коровы и на овцы, а иные ясак сдают коламацким людям железом же».

Селезнев услышал за спиной приглушенный смех, и любопытство заставило подойти к товарищам. Научный сотрудник музея, узнав, что приехали металлурги из Запорожья, рассказывал о старейшем Гурьевском металлургическом заводе, построенном в 1815 году:

— Первая гурьевская домна была высотой всего в сорок четыре и четыре десятых фута. Действовала на холодном дутье. Воздуходувная машина приводилась в действие водоналивным колесом. Домна давала в сутки двадцать четыре пуда чугуна, а железа завод изготавливал сто тридцать пудов за две недели.

Металлурги заулыбались:

— Вот это производительность!

— Учтите, — совершенно серьезно говорил сотрудник музея: — это был целый горнометаллический комбинат. Он объединял две каменноугольные копи, курени, снабжавшие древесным углем доменный, литейный и другие цехи.

Но Селезнева привлекали более стародавние времена. Он рассматривал рисунок Кузнецкой «крепостцы», построенной на высокой и крутой горе для защиты от набегов киргизов. Здесь же поставлена и дата основания острога, позже переименованного в город: 7126 год по старому летоисчислению, 1618 год — по новому.

И снова смех отвлек внимание Селезнева от экспонатов.

Научный сотрудник показывал маленькие тряпичные фигурки с размаляванными лицами. Это божки шорцев. Взаимоотношения с божками были довольно своеобразные. Им молились перед охотой и, если охота была удачной, мазали рот кровью добычи — как бы давали отведать ее в виде угощения, а неудачной — пороли кнутами.

С удивлением остановился Селезнев у стенда, посвященного Достоевскому. Оказывается, писатель жил в Кузнецке в ссылке. Здесь жил около десяти лет и умер ссыльный Виктор Обнорский.

Селезнев с горечью подумал о том, как мало еще знает он из того, что должен знать всякий культурный человек.

В детстве он читал запоем, читал где только мог. Даже из школы шел, уткнувшись в книжку, и так изучил лесную тропу, что и не спотыкался. А последние годы технические книги вытеснили беллетристику. «Нет, надо браться за себя», — подумал он.

Распростившись с радушным старичком, пошли в Дом техники. Весь третий этаж отведен здесь под музей.

Запорожцы долго стояли перед большой фотографией местами заболоченной степи — здесь начинали строить Кузнецкий комбинат, здесь жили в палатках первые строи-

тели. Это они в лютые морозы укрывали своими одеялами бетон, чтобы спасти его от замерзания, дать «схватиться».

От фотографии к фотографии, от картины к картине двигались металлурги, и проходили перед глазами героические дни строительства первоклассного металлургического предприятия в вековой сибирской глуши. Селезневу стало жаль, что родился он поздно и не мог принять участия в этой героической эпопее. В металлургию он пришел уже на готовое.

Вот макет мартеновской печи. Как просто растолковать новичку на таком макете ее устройство! А на макете прокатного цеха можно познакомиться с расположением всех агрегатов. Смотри, учишься.

Селезнев позавидовал кузнечанам. Ни в Магнитке, ни в Запорожье такого музея не было.

Не выходя отсюда, можно познакомиться с показателями разных цехов, с нововведениями передовиков производства, увидеть их фотографии.

Селезнев задержался у портрета обер-мастера мартеновского цеха № 1 Михаила Моисеевича Привалова. Ради него он и приехал сюда. Инициатор соревнования мастеров за высокое качество продукции, Привалов за два года не выпустил ни одной плавки не по заказу, не по анализу. Он настоящий снайпер по попаданию в анализ. Но не этому приехал учиться Селезнев. Привалов добился сказочно низкого простоя на ремонте подин — 0,73 процента рабочего времени. У других обер-мастеров простои достигают 3, а порой и 5 процентов. Руководители запорожского мартена решили поставить Селезнева обер-мастером и перед этим послали его на передовые заводы набираться ума-разума.

Селезнев охотно поехал по заводам и о возвращении назад думал с содроганием. Не хотелось отрываться от металла, от кипучей оперативной работы.

Ремонт подин его интересовал постольку, поскольку это входило в круг необходимых знаний и навыков, но призва-

ния к этому делу он не чувствовал и отказывался от него всеми силами.

Утром в понедельник бригада явилась к заместителю директора Кузнецкого комбината оформлять пропуски и застала его склонившимся над фотоальбомом Ленинграда.

Такое использование служебного времени показалось Селезневу легкомысленным, и он при всей своей сдержанности не смог удержать улыбки.

Замдиректора понял его и тоже улыбнулся в ответ:

— Подбираю образец чугунной решетки для нашего парка. А лучше ленинградских нигде в мире нет. Вот эти колонны под фонари, — он показал рукой в окно, из которого была видна колонна изящнейшей формы, — тоже отсюда.

Селезнева тронула такая любовь к своему заводу, но ему нечего было краснеть за Запорожье. На Кузнецкий завод не упала ни одна бомба, а «Запорожсталь» восстанавливалась из пепла и руин, и вся энергия многотысячного коллектива долгое время была направлена на то, чтобы сделать завод технически более совершенным, чем он был до разрушения. Ну что ж из того, что до фонарных столбов и чугунных решеток руки еще не дошли!

Все радовало глаз на Кузнецком комбинате. И широта асфальтированных шоссе, по ночам освещенных, как проспекты, фонарями в круглых матовых абажурах, и зеленые газоны на заводских площадях, и скверики с фонтанами, и исключительный порядок в цехах.

Здесь не подходила старая поговорка металлургов — «Чисто в цехе, пусто в кармане», смысл которой заключался в том, что наводят чистоту тогда, когда печи простаивают и цех не выполняет плана, а при хорошей работе неминуема грязь.

Но особенно поразил Селезнева Привалов. У него в бригаде была образцовая дисциплина, наивысшая ее форма, когда каждый без всякой команды делает то, что от него

требуется. В Запорожье искусством выдувать воздухом металл из ямы владели только обер-мастера, а в бригадах у Привалова каждый подручный мог взять трубу и провести эту сложную операцию.

Этот прославленный человек, начавший свой трудовой путь с ФЗО, награжденный многими орденами, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР, держался исключительно просто.

Селезнев умел уже отличать игру в простоту от подлинной душевной человеческой простоты. Вот именно таким простым и был Привалов. От него словно исходило сияние теплоты и жизнерадостности. Он небольшого роста, плотно сложен, на смуглом лице — черные блестящие глаза, в которых, казалось, отражаются огни мартенов. Его почти не слышно на площадке — люди понимают его с одного жеста, с одного взгляда. Но когда нужно, голос его звенит металлическими нотками.

Селезнев побывал у Привалова и дома и отметил, что обер-мастер одинаков на заводе и в семье. По контрасту вспомнился тесть. Гостеприимный и приветливый дома,жнейший в отношениях с внуками, которым позволял буквально ездить на себе, он, входя в цех, словно надевал на себя панцирь, а в горло вставлял репродуктор. Бесчастный держал железную дисциплину, любил прикрикнуть, но в цехе многое за людей делал сам, потому что не научил их тому, чему научил Привалов.

Разную школу прошли эти обер-мастера. Бесчастный начал в ту пору, когда сталевары и мастера тщательно хранили свои секреты, когда надо было все постигать самому, «самотужкой», когда годами трудились, чтобы продвинуться хотя бы из каталей в подручные. А уж на продвижение до сталевара у многих уходила вся жизнь.

Привалова же учили в советское время, когда сталевары и мастера не боялись передавать свой опыт — они твердо знали, что места всем хватит.

В глубоком раздумье уезжал Селезнев из Кузнецка. Он

завидовал Привалову. Завидовал не его славе, не его высокому мастерству. Это наживное. Пусть три года, пять лет — он овладеет искусством ухода за подинами. Но есть вещи, которые почти невозможно перенять: общительность характера, умение согреть человека, поддержать его в трудную минуту теплым словом, дружеской шуткой.

Дома, в гостях Селезнев мог и посмеяться, и сам посмеяться. На вечеринках танцевал до упаду или по крайней мере до тех пор, пока не перетанцует всех, а в цехе как-то замыкался, чувствовал себя будто в строю, где нет места ни шуткам, ни разговорам. Хорошо еще, что люди понимали склад его характера и воспринимали молчаливость, деловую отчужденность не как высокомерие или зазнайство, а как принятое раз и навсегда правило поведения человека в цехе.

«У Привалова целая плеяда последователей, многих он поставил на ноги, многих выучил, — раздумывал Селезнев, глядя в окно поезда и не видя, что там, за окном. — А я? До сих пор я только брал от людей и то, что брал, отдавал производству. Но пришла пора отдавать долги людям. Принять назначение обер-мастера — значит опять брать, опять учиться. Нет, надо остаться в смене». Сколько людей, которые пришли в цех такими, как он, ничего не умеющими! Вот им и нужны его помощь, совет, поддержка.

Итак, решено: никуда из смены, от металла, от оперативной работы, от постоянного общения с людьми.

ЭПИЛОГ

Последний раз я встретился с Селезневым в Москве, вскоре после III сессии Верховного Совета СССР, принявшей закон об улучшении руководства промышленностью. Он приехал ко мне прямо с вокзала, взбудораженный, как всякий, кто приезжает с периферии в Москву. Поев, по заводской привычке, наспех, попросил меня провести с ним этот вечер.

— Куда пойдем? — спросил я, хотя и предугадывал его ответ.

— Конечно, туда, где начинается земля. К Кремлю, на Красную площадь.

И вот мы медленно поднимаемся мимо Исторического музея, выходим к Гуму и останавливаемся.

Не первый раз Селезнев в Москве, но раньше он бывал здесь всего по нескольку часов, проездом. А сегодня торопиться некуда, и он любит очертаниями кремлевских стен, золочеными куполами соборов, рубиновыми звездами, строгими и величавыми линиями Мавзолея. Он молчит, но в его взгляде я вижу растроганность и знакомый мне по цеху огонек возбуждения.

Мы пересекаем площадь у Лобного места, и Селезнев не может удержаться от искушения подняться по ступенькам и посмотреть, где были казнены Степан Разин и Емельян Пугачев. Его удивительно волнует все, что непосредственно связано с историей.

А потом мы проходим мимо Мавзолея, мимо застывших, как изваяния, часовых. В этот вечерний час здесь тихо, немногочленно, и встречающиеся нам люди ходят молчаливые, ничем не нарушая торжественной тишины этих святых мест.

Бьют кремлевские куранты.

И вдруг молчавший до сих пор Селезнев говорит мне фразу, на первый взгляд никак не связанную с чувствами, которые испытывают люди здесь, у Кремлевской стены, вобравшей в себя нетленный прах деятелей революции, виднейших людей Страны Советов.

— Отец мне рассказывал, что у него в юности было две пары лаптей: одни рабочие, другие выходные. Рабочие лапти лыковые, а выходные — он их надевал только по праздникам — теплые, пеньковые.

Вот и все, что сказал мой герой на Красной площади. Таков он есть, и вряд ли из него выйдет оратор. Очень редко

люди дела умеют не только красиво говорить, но даже высказать все, что переполняет их душу.

Шесть дней проводит Селезнев в Москве. С утра идет по делам, а потом мчит в музей. Возвращается он, еле волоча ноги, счастливый, довольный, бегом рассказывает о том, что видел, и усаживается за телевизор.

— Деревня-матушка, — как бы оправдываясь, говорит он и смотрит с одинаковым интересом все подряд, сокрушаясь лишь о том, что нельзя сразу смотреть две программы.

Из Третьяковской галереи Селезнев возвращается ошеломленный и с полчаса даже не включает телевизора.

— Так, конечно, нельзя смотреть картины, — сознается он. — Туда надо ходить месяц и быть не больше двух часов в день. А знаете, кого я там увидел? Партизана из нашей бригады.

— В Москве живет? — спрашиваю я, обрадованный тем, что можно будет поговорить еще с одним партизаном.

Селезнев грустно смотрит на меня.

— Вот здесь, — он показывает рукой на сердце и голову. — Бюст его видел. Звание Героя Советского Союза ему присуждено посмертно.

И рассказывает мне историю смерти своего земляка — Михаила Сильницкого:

— Было это возле деревни Курино. Сидела в засаде горстка партизан, и неожиданно на них налетело более трехсот гитлеровцев. Ну, и началась потасовка! Сильницкий был с пулеметом и уложил полсотни немцев, пока не расстрелял все патроны. И его ранили в обе ноги. Немцы вздумали взять Михаила живым, окружили, но он собрал последние силы, поднялся, выхватил нож и успел заколоть двух фашистов и одного ранить. Эх, Владимир Федорович, много чего было, да разве все расскажешь! — со вздохом заключает Селезнев.

Последний день, 9 мая, мы проводим с Селезневым вместе. Быстро вернувшись из ВЦСПС, он, по установившейся привычке, усаживается на диван и говорит:

— А я уже работаю не на заводе.

«Вот тебе раз! — думаю. — Пишу книгу о передовом сталеплавильщике, а его уже утащили в аппарат». И образ человека, влюбленного в свою профессию, в металл и в людей, которые делают этот металл, меркнет и рушится.

— А где? — деланно-безразличным тоном спрашиваю я.

— На комбинате. Завод «Запорожсталь» преобразуется в комбинат. Его соединяют с «Днепроспецсталью» и коксохимическим заводом. Сломали наконец эти искусственные перегородки! Ведь странно получалось. Стоит на нашей территории коксохимический завод. Мы даем ему доменный газ для выжигания кокса, он дает нам кокс для домен, коксовальный газ для мартеновских и прокатных печей. Это ведь единый организм! Ни он без нас, ни мы без него существовать не можем. А мы подчинялись одному главному, а химзавод — другому. Два директора, два заводоуправления, и договариваются они друг с другом через Днепропетровск, а еще чаще — через Москву.

Вздыхаю с облегчением и спрашиваю, куда идем сегодня.

— Западную живопись еще не видел.

В Музее имени Пушкина я начинаю понимать, почему Селезнев так сильно устает. Он осматривает все подряд, читает пояснительные тексты. У полотен, привлечших особенно его внимание, задерживается подолгу.

Отдел античного искусства моего спутника явно разочаровывает. Ему хочется видеть подлинники, а на экспонатах слишком часто встречается надпись: «Копия». Оригиналы в Лондоне или в Париже. И только образчик мозаичного пола заинтересовывает его — это подлинник, от него пахнут веками.

На улице нам встречается девушка. Узенькие тонкой шерсти брючки, замысловатые сандалеты, блузка из разноцветных перекошенных полос и такая же косынка на голове.

— Иностранка? — спрашивает меня Селезнев, но, рас-

смотрев курносое веснушчатое лицо, громко заключает: — Копия. Оригинал в Париже.

Девушка подтверждает, что она копия, — зло фыркает и отворачивается от нас.

Вечер застает нас на Красной площади.

Громко звучат орудийные раскаты, небо словно вращается от бегающих лучей прожекторов, сотни разноцветных ракет вздымаются ввысь и, описав параболы, гаснут в воздухе.

— И твои огоньки в этом салюте есть, — говорю я Селезневу, зачарованному красотой зрелища, которое видит впервые.

Он задумчиво качает головой:

— Это огоньки тех сердец, которые погасила вражеская пуля.

Всю неделю я собирался спросить Селезнева, понравился ли ему образ сталевара Шатилова в моих книгах, но все как-то не находил удобного момента, и хотя сейчас это тоже было некстати, задал этот вопрос.

— Хорошо, — лаконично отвечает Селезнев. — Только это не рядовой сталевар, а образцовый.

— А ты?

— А я рядовой.

Нет, Селезнев безусловно не рядовой. Не рядовой уже потому, что много видел и много пережил за тридцать три года своей жизни. Но он и не лучший из лучших. В том же самом мартеновском цехе «Запорожстали» из тридцати сталеваров по крайней мере о десяти можно написать интересные книги. Сталевары Якименко, Мартынов, Небылицын, Помятун, Каёла вписали свои строки в историю отечественной металлургии.

Но я остановился на биографии Селезнева потому, что на примере этого выдавшего виды и пережившего беды человека, мне кажется, можно ярко показать силу советского коллектива и всю сложность и красоту профессии людей, которые воспринимают многие качества от металла и придают металлу свои.

И если юный читатель, прочитав эту книгу, получит представление о романтической профессии сталеплавильщика, автор будет доволен, а если он еще и полюбит это дело, которому самозабвенно предан герой повести, то автор будет очень рад, потому что, по его глубокому убеждению, сталевар — это звучит гордо.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i> Начало пожара	3
Первое задание	8
<i>Глава вторая.</i> Исполнение мечты	21
Боевая закалка	27
Ранняя проседь	35
Прощай, оружие! :	42
<i>Глава третья.</i> В цитадели обороны	51
Радость и горе рядом живут	65
<i>Глава четвертая.</i> Путь начинается сначала	74
Металлургии рядовой	80
<i>Глава пятая.</i> Самостоятельная плавка	88
Опыт — это время	93
Авария	104
<i>Глава шестая.</i> Ступень за ступенью	110
Бог металлургии — кислород	120
<i>Глава седьмая.</i> На восточных гигантах	124
Эпилог	135